



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дмитрий Травин

**Модернизация
versus революция,
или Модернизация
ergo революция?**

Препринт М-102/24

**Центр исследований
модернизации**



Санкт-Петербург
2024

УДК 327(470)
ББК 63.4
Т65

Травин Д. Я.

Т65 **Модернизация versus революция, или Модернизация ergo революция?** / Дмитрий Травин : Препринт М-102/24. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2024. — 70 с. — (Серия препринтов; М-102/24; Центр исследований модернизации).

Модернизаторы часто считают революцию своеобразной демодернизацией, порожденной мрачной народной традицией отторжения всего нового, тогда как революционеры успешный ход модернизации почти отождествляют с контрреволюцией, мешающей им построить новый мир вместо мира насилия, подлежащего разрушению. В этом препринте революция анализируется как следствие модернизации. Движение от традиции к современности не обязательно должно порождать «социальный взрыв», но именно модернизация создает условия, при которых революция становится возможна.

Информация об авторе: Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб).

Российская революция была столь мощным, столь трагичным и столь сильно потрясшим основы существования страны событием, что при рассмотрении вопроса о причинах нашей отсталости невольно хочется обратиться к катастрофе 1917 г. Кажется порой, будто Россия проигрывает соревнование с другими странами, поскольку именно ее поразило такое несчастье, как революция, переросшая затем в гражданскую войну с многомиллионными жертвами.

Незадолго до революции лидер кадетов Павел Миллюков произнес в Думе знаменитую обличительную речь, в которой рефреном повторялся вопрос: «Что это, глупость или измена?» [Миллюков 1991: 445]. Вопрос касался ведения войны царским режимом, однако, по сути дела, относился к функционированию царского режима в целом. Что обусловило его разложение? Что создало революционную ситуацию? Что радикально настроило самые разные слои общества против той власти, которую недавно еще почитали как данную Богом? Кроется ли причина в глупости власть имущих? Или в измене тех, кто готов был на все ради захвата власти? А может, революция имеет под собой объективные основания, поскольку общество быстро меняется и уже не влезает в тесные одежды старого политического режима?

Одним из первых попытался ответить на этот вопрос великий князь Александр Михайлович, близко знавший Николая II с детских лет и находившийся с ним в дружеских отношениях. По мнению Александра Михайловича, причиной постигшей Россию катастрофы стали черты личности государя, его слабость, неумение и нежелание нормально править страной, сосредоточенность на жизни собственной семьи (особенно тяжело больного сына Алексея), покорность судьбе, игнорирование возможностей высшей великокняжеской аристократии при опоре на убогую по своим способностям бюрократию, умеющую лишь подмораживать страну, следуя совету Константина Победоносцева. Общество в этой картине выглядит лишь бунтующим сбродом, который нуждается в палке. Проживи дольше сильный царь Александр III — Россия могла бы избежать революции [Александр Михайлович 1991: 137–154].

Интересную, но столь же сильно упирающую на субъективный фактор оценку дал в художественной литературе Марк Алданов. В раннем своем романе «Ключ» писатель сосредоточил внимание на значении революционеров, которых один его герой сравнил с конкистадорами, бросавшимися в приключения со скуки. В поздних романах «Пещера», «Истоки» и «Самоубийство» Алданов взглянул на проблему шире, представив революцию и мировую войну как своеобразное самоубийство страны, т. е. как совокупность ошибочных действий множества людей, вызванных страстями, эмоциями, нерациональными решениями. При этом самоубийственные меры, предпринимавшиеся для урегулирования международных конфликтов, сплелись в единый клубок с самоубийственными мерами, предпринимавшимися для облегчения тягот народной жизни, и в итоге загнали Россию в гроб.

Николай Бердяев, в отличие от Марка Алданова, дал не художественную, а научно-публицистическую интерпретацию революции. «Ортодоксальный марксизм, который в действительности был порусски трансформированным марксизмом, воспринял, прежде всего, не детерминистскую, эволюционную, научную сторону марксизма, а его мессианскую, мифотворческую, религиозную сторону, допускающую экзальтацию революционной воли, выдвигающую на первый план революционную борьбу пролетариата» [Бердяев 1990: 88]. Конечно же, это верное утверждение, но оно мало что объясняет. Сетования на то, что марксизм получился неправильный, сродни сетованиям на то, что не удастся, увы, безболезненно пересадить с одной национальной почвы на другую ни трудовую этику, ни демократию, ни склонность к формированию институтов гражданского общества. Всюду вмешивается зависимость от исторического пути и серьезно корректирует первоначальные намерения. И народофильский терроризм, и особенно революционный марксизм не были, естественно, плодами, возросшими на русской почве. В отношении деструктивных явлений можно сказать все то же, что говорится о позитивных чертах модернизации. Их формирование определялось воздействием на Россию прогрессивных западных идей, скорректированных в связи с зависимостью страны от ее исторического пути. Люди, стремившиеся к радикальному переустройству общества в кратчайшие сроки, глядели на Запад и брали там образцы, казавшиеся им оптимальными. Они поступали точно так же, как реформаторы, стремившиеся заимствовать институты, и предприниматели, стремившиеся заимствовать технологии и менеджмент. А затем революционеры точно так же, как «эволюционеры», сталкивались с тем, что общество

перемалывает их «идеальные модели» и «на выходе» образуется отнюдь не то, что хотелось бы получить, а лишь то, что возможно сделать в конкретных условиях.

Ричард Пайпс тоже делал в своих объяснениях упор на специфику России: на Западе не могло быть такого солдатского бунта, какой случился в Петрограде февраля 1917 г. Взбунтовались потомки крепостных, у которых рабство осталось в крови. Почувствовав безнаказанность, они враз вышли из повиновения [Пайпс 2005а: 381]. Выход из повиновения состоял в том, что солдаты, в отличие от 9 января 1905 г., отказались стрелять в митингующих горожан. Надо ли так понимать Пайпса, что, если бы не рабская природа солдат, они бы легко убивали своих сограждан, руководствуясь рациональными соображениями? Кроме того, из теории Пайпса неясно, каким образом рабство передается через кровь и в каком поколении этот процесс прекращается. Крепостное право существовало почти во всех европейских странах, а в США его отменили тогда же, когда и в России. Сохранялась ли на Западе рабская природа людей в новых поколениях или «рассосалась»?

Любовь к народу, свойственная нашей интеллигенции, — еще одно популярное объяснение истоков русской трагедии. Вместо развития экономики интеллигенция взялась за разрушение. Ведь она, как полагают порой, витала в облаках вместо того, чтобы работать, презирала золотого тельца, не могла осмыслить рационально систему буржуазных ценностей, искала смысл жизни и идеалы вместо выполнения должностных обязанностей. А тех, кто их выполнял, в России не уважали. На Западе же все было, мол, по-другому [Экштут 2012а: 13, 205, 272, 290, 301].

Представление о российской уникальной катастрофичности исходит из блестящего алармистского сборника «Вехи», вышедшего в свет вскоре после революции 1905–1907 гг. Авторы статей резко противопоставили отечественную интеллигенцию западным интеллектуальным элитам, подчеркнув наши многочисленные недостатки: антигосударственность, отмеченную Петром Струве [Струве 1991: 153], нигилизм, выделенный Семеном Франком [Франк 1991: 173], псевдорелигиозность, подчеркнутую Сергеем Булгаковым [Булгаков 1991: 37], отсутствие правового сознания, обнаруженное Богданом Кистяковским [Кистяковский 1991: 129], склонность к поверхностному философствованию, огорчавшую Николая Бердяева [Бердяев 1991: 17], стремление к отказу от серьезной будничной работы ради ложного народолюбия, констатированное Михаилом Гершензоном [Гершензон 1991: 82]. Хотя ныне про «Вехи» редко вспоминают, общий дух резкого противопоставления российской

революционности западной умеренности у либеральной интеллигенции в значительной степени сохранился: мол, не годны мы для нормальной жизни.

Коммунисты столь же часто, как и либералы, выделяют революцию 1917 г. из общего ряда исторических событий, но придают этому совершенно противоположный смысл. По их мнению, большевики проложили путь к успеху, и лишь отказ от завоеваний Октября обуславливает ныне российскую отсталость.

Как коммунисты, так и антикоммунисты сходятся в оценках большого значения революции, но присваивают этому значению различный знак. Для одних это момент вступления на путь истинный, для других — момент ухода с истинного пути, которым страна следовала до того, как ее попутали бесы, описанные в знаменитом романе Федора Достоевского. Споры нет, революция — событие эпохальное, однако даже беглый обзор истории Европы показывает, что есть не так уж много стран, в которых тот или иной «бес» не попутал население на том или ином этапе развития. Причем если говорить о крупных державах имперского типа, то революция (причем часто далеко не одна) обязательно перемежала собой периоды спокойного существования. Почему же столь радикальные потрясения прерывают спокойный ход модернизации? Почему люди не могут спокойно строить будущее? Попробуем разобраться.

«Это все перевернулось и только укладывается»

Ричард Пайпс в одной из своих книг расстался вдруг с той отстраненностью, которая вроде бы должна быть свойственна настоящему ученому, и поделился любопытным впечатлением, возникающим при изучении революционной эпохи. «Исследователей этого периода более всего поражает, оставляя тягостное впечатление, атмосфера всеобщей и глубокой ненависти, царившей в обществе, — ненависти разнообразной: идеологической, этнической, социальной. Монархисты презирали либералов и социалистов. Радикалы ненавидели “буржуазию”. Крестьяне косо смотрели на тех, кто вышел из общины, чтобы вести самостоятельное хозяйство. Украинцы ненавидели евреев, мусульмане — армян, казахи-кочевники ненавидели и мечтали изгнать русских, которые поселились в их краях при Столыпине. Латыши готовы были броситься на помещиков-немцев. И все эти страсти сдерживались исключительно силой — армией, жандармами, полицией, которые и сами

были под постоянным обстрелом слева» [Пайпс 2005а: 267]¹. Думается, что повторить слова Пайпса мог бы исследователь любой революции, изменив лишь некоторую конкретику. Скажем, для Англии XVII века большую роль играла взаимная религиозная ненависть разных глубоко верующих групп населения, а для Франции XVIII столетия массовая ненависть к Церкви — той «гадине», которую, согласно Вольтеру, следует раздавить. Французские санкюлоты ненавидели тех, кто ходил в кюлогах — коротких штанах, характерных для дворянской одежды. Чернорубашечники в Италии ненавидели тех, чьим символом был красный революционный цвет. И точно так же в Германии относились к красным штурмовики, одетые в коричневые рубашки. Перечень признаков ненависти может быть очень длинным и включать самые странные признаки, скрывающие под собой фундаментальные различия. Ясно, что ненависть может проявляться в разных социальных условиях и зависит она не только от них, но в данном случае особо важны модернизационные перемены, ломающие привычную систему отношений между людьми. Как говорил Константин Левин в толстовской «Анне Карениной», у нас «все переверотилось и только укладывается» [Ч. 3; XXVI]. А каждая группа интересов хочет, естественно, «уложить» в свою пользу.

Хотя модернизированное общество, как правило, стабильно, модернизация порождает нестабильность и политический беспорядок [Хантингтон 2004: 59]. Наблюдателю, живущему в современном обществе, может казаться, будто каждый малый шаг к современности (рынку и свободе) должен сопровождаться хотя бы малым сдвигом к современным нравам (гуманности и толерантности), но на деле логика модернизации выглядит совершенно иначе. Сложный переход от стабильности традиционной к стабильности модернизационной идет через борьбу образующихся в этом процессе групп и, значит, через конфликты, которые могут обобщиваться революцией.

Хотя невозможно установить точную дату начала подобного перехода, в России обострение борьбы произошло после Великих реформ Александра II. Можно сказать, что реформы, исходившие из необходимости

¹ К этому следовало бы еще добавить взаимную ненависть, царившую среди людей «высшего света» — тех, кто непосредственно принимал политические решения или серьезно влиял на них. Атмосфера злобы, ненависти и презрения хорошо отражена в дневниках генеральши Александры Богданович, записывавшей на протяжении 33 лет разговоры, которые она вела в своем салоне с большим кругом людей. Все постоянно говорили друг про друга гадости [Богданович 1924].

учета сложившихся групп интересов, преопределили в пореформенный период новую расстановку сил и новое противостояние этих групп. Конкретная траектория российской модернизации с 1861 по 1917 г. определялась шестью основными обстоятельствами.

Во-первых, реформа создала потенциальную возможность для ускоренного развития экономики, в том числе промышленности. Дифференциация свободного крестьянства приводила к оттоку части сельского населения в город, что давало нарождающейся промышленности большое число рабочих рук. «Например, число промышленных рабочих в Петербурге в пореформенное время до 1913 г. увеличилось в 6,1 раза, в Москве — в 3,7 раза» [Миронов 2014: 411]. В то же время ускорившаяся урбанизация формировала емкий товарный рынок, поскольку крестьяне, расставшиеся с деревней и превратившиеся в городских рабочих, должны были теперь покупать большую часть предметов потребления на свою зарплату. В данном смысле модернизация в России полностью шла по пути, проложенному ранее другими европейскими государствами, и показала, как наличие капиталов и рабочей силы обуславливает рост, даже несмотря на сохранение множества проблем в политической, социальной и идейной областях жизни. Хотя успехи российской промышленности в силу ряда причин выявились далеко не сразу после реформы, тем не менее с середины 1890-х гг. экономический подъем стал очевиден [Туган-Барановский 1997: 338]. «В 1861 г. объем производства в России составлял примерно половину американского, 80 % объема производства в Великобритании и в Германии и лишь немного отставал от французского. В 1913 г. по этому показателю Россия почти сравнялась с Англией, значительно превзошла Францию, в два раза обогнала Австро-Венгрию и достигла 80 % объема производства в Германии. Снижение данного показателя на протяжении этого периода наблюдалось только относительно США, где экономика росла быстрее между 1861 и 1913 гг.» [Грегори 2003: 20–21]. По оценке историка Бориса Миронова, «национальный доход за 52 года увеличился почти в четыре раза» [Миронов 2019: 16]. Миронов приводит в своей книге о революции слова журналиста Суворина, сказанные в 1911 г.: «Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удастся, во всем мы отстали... За мою жизнь, вот уже 50 лет, как я оглядываюсь сознательно, Россия до такой степени страшно выросла, <...> что едва веришь» [там же: 71].

Позитивные перемены происходили не только в экономике, но и в правовой сфере. Судебная система стала всесословной. Возник суд при- сяжных, избираемых населением. «Поскольку 90 % населения страны

составляли крестьяне, из них и формировался в основном состав присяжных» [Мионов 2015б: 69]. Неудивительно, что резко возрос интерес общественности к судебному процессу. Открытые для публики заседания проходили порой в переполненных залах. Посещение суда стало своеобразным общественным мероприятием [Кирмзе 2023: 179–181]. Это снижало вероятность нарушения прав человека и покушения на его собственность.

Во-вторых, реформа на долгие годы создала условия для серьезной социальной напряженности, поскольку она была проведена с учетом интересов помещиков. Несмотря на утрату былого влияния, консервативное дворянство представляло собой столь значительную группу интересов, что пренебречь ею было бы опасно для самодержавия. Но крестьяне, конечно, оказались недовольны подобным подходом. Причем не только по рациональным причинам, связанным с малоземельем и ощущением несправедливости преобразований, но и из-за распространения в крестьянской среде традиционных представлений о том, что земля — дар божий, которым никто не вправе распоряжаться и превращать его в частную собственность [Стейнберг 2018: 292, 309]. На этом фоне в рядах радикально настроенной части общества возникло ощущение половинчатости преобразований, осуществленных Александром II. С точки зрения многих молодых людей, надеявшихся на быстрые и справедливые реформы, «освобождение крестьян в России оказалось циничной пародией на их планы и надежды» [Берлин 2001: 319]. Соответственно, царь-реформатор начал восприниматься в качестве помехи на пути модернизации страны. Террористы стали охотиться за ним, совершили целый ряд покушений и в конечном счете убили через двадцать лет после отмены крепостного права [Ляшенко 2003: 264–321]. При этом терроризм, как и вообще многие преступления, стал списываться на плохую социальную среду, на то, что в убийстве, краже или хулиганстве виноват не конкретный человек, а система. Адвокаты в судах специально акцентировали внимание на трудных обстоятельствах жизни подзащитных, стремясь к тому, чтобы присяжные выносили вердикт не по закону, а из жалости [Кирмзе 2023: 209–210]. Таким образом, нарастание социальных проблем представляло собой оборотную сторону медали. Успехи модернизации в экономке неотделимы были от роста недовольства различных слоев населения.

В-третьих, несмотря на успех судебных преобразований, комплекс противоречий формировался в правовой сфере. В ходе Великих реформ профессиональные юристы одержали победу над старой администрацией.

«Однако служители судебной власти, проникнутые идеалистическим представлением о миссии закона и романтическим чувством личного призвания, остались сообществом, разьединенным с государственным строем России. Верные прежним традициям бюрократы, привыкшие считать царя первоначалом какой бы то ни было власти, все более и более подозрительно смотрели на альтернативные источники права. Иными словами, в российской государственности бок о бок существовали два враждебных друг другу интеллектуальных мира. С возникновением между ними открытого конфликта вновь заявило о себе традиционное неприятие независимого суда, создав атмосферу недоброжелательства по отношению к коренным ценностям новых судебных учреждений. В перспективе это вело к созданию условий, в которых противникам независимого суда удалось задержать его дальнейшее развитие» [Уортман 2004а: 479–480]. Модернизация формировала, таким образом, новый фронт столкновения интересов. В сфере законотворчества оно практически остановило модернизацию. Как можно говорить о торжестве закона, полагали многие мыслящие люди, когда одни и те же органы власти творили право и его осуществляли? «В такой путанице участвовали все центральные учреждения. И это создавало благоприятную почву для произвола» [Соловьев 2018: 49–50]. Поэтому в добавление к требованиям по земле появлялись и требования по законотворчеству. Общественность хотела иметь выборный законотворческий или хотя бы законосовещательный орган.

В-четвертых, на фоне радикализации небольшой группы пассионариев, стремившихся к активизации террористической деятельности, широкие массы разочарованной в политике молодежи стали склоняться к пессимизму. Яркий пример такой эволюции — огромные тиражи (более 200 тысяч экземпляров) поэтических сборников Семена Надсона, который стремился уйти в творчество, устав от «мира борьбы и наживы», как выразился он в одном стихотворении. «Ни один русский поэт, не исключая Пушкина, Лермонтова и Блока, не выпускался такими тиражами» [Экштут 2012б: 9]. Читатели Надсона сами не брались за бомбы и револьверы, но их индифферентность по отношению к происходящим в стране переменам создавала благоприятную почву для действий радикалов. Фанатики получали численный перевес над рационально мыслящими реформаторами, несмотря на то что сами представляли собой относительно маргинальную группу.

В дальнейшем, на рубеже веков и в эпоху революции 1905–1907 гг., широкие массы интеллигенции увлеклись политикой, заинтересовались

демократизацией, связанной с публикацией Октябрьского манифеста, и выборами в Государственную думу. Читательский интерес перешел к Максиму Горькому с его социальной проблематикой [Быков² 2008: 92]. Но затем вновь вернулась апатия. В моду вошли мистицизм, нуар, декаданс и даже самоубийства [Зыгарь² 2017: 542–543]. Вряд ли можно говорить, как это делает Р. Пайпс, что русские интеллигенты в целом объявили войну монархии [Пайпс 2005а: 214–215], но, бесспорно, они не стали группой, стабилизирующей страну и проявлявшей интерес к ее мирной модернизации.

В-пятых, широкие массы необразованного населения оказались в сложном, противоречивом состоянии. Экономика создавала для них новые возможности, но воспользоваться ими удавалось далеко не всем. С одной стороны, многим людям становится все труднее жить по-старому, поскольку не имелось достаточного объема земельных ресурсов. Но, с другой стороны, жить по-новому психологически очень трудно, если ты привык к традиционным формам существования. Как справедливо отмечал в этой связи культуролог Игорь Г. Яковенко, «крестьянский мир переживает раскол и распадается. Одна его часть избирает приятие и освоение нового. Другая — переживает чувство распада космоса и испытывает острейшую потребность вернуться к исходной простоте традиционного мира [Яковенко 2012: 543]. А крестьянам, перебравшимся в город и пытавшимся освоиться в качестве промышленных рабочих, жить оказалось еще тяжелее, поскольку они не чувствовали поддержки общины и вынуждены были привыкать к совершенно новым условиям существования. «Переход из деревни в город — сложный и в высшей степени болезненный процесс. Мигрант переживает устойчивый стресс» [там же: 547].

В-шестых, поскольку рост недовольства обусловил в России разгул терроризма, консервативные группы интересов опять стали набирать силу. Обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, всё критиковавший и никогда ничего не предложивший [Куломзин 2019: 241], считал реформаторов изменниками, готовившими крушение государства, и идолопоклонниками, боготворившими разные виды свободы [Полунов 2017: 127–128]. Модернизация никак не могла нравиться всем, тем более что поначалу она обернулась обнищанием пролетариата из-за быстрого притока в город множества крестьян наряду с механизацией труда, вытеснявшей с фабрик тысячи рабочих [Туган-Барановский

² Внесен в реестр иностранных агентов.

1997: 422–423]. Экономические успехи страны стали заметны лишь накануне XX века, тогда как «успехи террористические» проявились намного раньше. В итоге в действиях власти наметились явные консервативные тенденции. Если при Александре II один за другим появлялись проекты введения законосовещательного представительного учреждения [Миронов 2015а: 407], то после гибели царя-освободителя его сын решил отказаться от робких попыток формирования народного представительства, которые содержались в проекте графа Михаила Лорис-Меликова. Причем Александр III осуществил свой консервативный поворот под влиянием Победоносцева и небольшого числа его единомышленников, проигнорировав мнение большинства членов Государственного совета, настроенных на продолжение реформ [Перетц 2018: 143–168, 384]. Торжество консерватизма, в свою очередь, обусловило возмущение радикальных групп, считавших, что реформы должны быть продолжены до тех пор, пока Россия не перейдет от самодержавия к конституционной монархии. При этом нарождающиеся марксисты смотрели дальше радикалов-народников и интеллектуалов-конституционалистов, надеясь уничтожить и самодержавие как политическую систему, и капитализм как социальный строй.

Впрочем, прежде чем перейти к анализу революционной роли пролетариата как социальной базы марксистов, надо взглянуть на раскол элит и ослабление государства. Этим проблемам уделяется много внимания в теориях революции [Скочпол 2017: 71; Голдстоун 2017: 35–36].

Бессмысленность мечтаний

«Удивлявшая современников легкость, с которой победила Февральская революция, — справедливо отмечает Борис Колоницкий, — объясняется не только силой напора на власть ее давних противников, но и отсутствием поддержки со стороны немалой части монархистов, оставшихся таковыми даже в момент падения монархии» [Колоницкий 2010: 568]. «Самое поразительное в Февральской революции, произошедшей в разгар войны, именуемой отечественной, — констатирует Владимир Булдаков — было то, что за императора, стоящего во главе далеко не сломленной армии, не вступился никто» [Булдаков 2010: 120]. Революция не была бы возможна без раскола элит, обусловившего слабость государства и его неспособность защитить себя от нарастающего давления снизу. Любопытно, что Максим Горький отразил это

уже в 1906 г. в пьесе «Враги», где «господа», вступившие в конфликт с рабочими, не могут договориться даже о единой политике на своем заводе. Одни требуют жесткости, другие — компромиссов, третьи вообще симпатизируют пролетариям.

Наверное, важнейшим фактором, спровоцировавшим раскол элит, стало поведение царской семьи, сумевшей дискредитировать себя распутинским скандалом, и лично Николая II, демонстрировавшего неспособность эффективно управлять страной. Распутинщина шокировала многих представителей российской элиты. В устах лидера октябристов Александра Гучкова, например, «“старец” предстал не только как одиозная личность, волей случая оказавшаяся в центре внимания общественности, но как средоточие всех негативных тенденций в политической жизни страны» [Коцюбинский А., Коцюбинский Д. 2003: 151]. Александр Керенский уверял, будто кабинет премьера Горемыкина «просто-напросто подчинился диктату Распутина и его клики» [Керенский 1993: 90]. Князь Феликс Юсупов, рассказывая, как он пришел к решению о необходимости убийства Григория Распутина, рисует картину серьезного ментального кризиса верхов. Элита разрывалась между приверженностью монархии как традиционному для России институту и неприятием поведения царской семьи. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, сестра царицы Елизавета Федоровна, великие князья, аристократия, высшее чиновничество, церковные иерархи, влиятельные парламентарии (начиная с председателя Думы Михаила Родзянко) в той или иной форме давали понять, что сложившееся положение дел совершенно нетерпимо [Князь Феликс Юсупов 2023: 159–230]. Поговаривали даже о двух заговорах (в верхах военного командования и среди великих князей), целью которых было добиться отречения Николая II в пользу царевича Алексея при регентстве младшего брата царя Михаила Александровича [Герасимов 1985: 187].

Положение дел хорошо отражала вражеская листовка, распространявшаяся на фронте в 1916 г.: там были изображены германский кайзер, опиравшийся на свой народ, и русский царь, облокотившийся на половой член Распутина [Колоницкий 2010: 539]. Тот факт, что для подобной немецкой пропаганды имелись серьезные основания, глубоко оскорблял монархистов и заставлял искать способы решения проблемы царской семьи вместо самоотверженной защиты государя от наступающей революции. Люди, устранившие Распутина, на короткое время стали национальными героями. И не только аристократы. Скажем, члена Государственной думы Владимира Пуришкевича однажды на вокзале

приветствовали так: «Позвольте от лица русской армии поздравить вашу благородную руку — вы убийца Распутина. Вся Россия знает Пуришкевича, и всем, кто убил этого окаянного пса, — ура!» [Архипов 2000: 57].

Усугубляло проблему немецкое происхождение династии. Даже в мирное время русские аристократы и чиновники порой сетовали на засилье немцев в госаппарате. Но в условиях войны государство развернуло мощную антигерманскую кампанию, в ходе которой русских немцев депортировали, лишали собственности и вычищали из армии [Сергеев 2020: 46–47]. Неудивительно, что массовое отторжение всего германского стало подниматься до самого верха. Скажем, назначение премьером Бориса Штюрмера вызывало у многих негодование [Родзянко 1929: 146–147, 189–190]. «Революция воспринималась нередко как освобождение от векового “немецкого ига”, как свержение чуждой России “германской династии” Голштейн-Готторпов, лишь прикрывающейся родовым именем Романовых» [Колоницкий 2010: 574]. Существует целый ряд примеров того, как народная молва распространяла слухи, что даже сама императрица работает на врага, причем разговоры такого рода поддерживались не только «в массах», но и в политической элите [там же: 289–313].

Проблемы, возможно, не были бы столь серьезными при успешном ходе Первой мировой войны, однако на положение дел повлияла плохая готовность армии. В 1914 г. расход боеприпасов оказался значительно большим, чем ожидалось, а к весне 1915 г. солдаты получили приказ «не трогать патронов понапрасну» и «забирать патроны у раненых и убитых» [Александр Михайлович 1991: 210–212]. Естественно, в элитах начался поиск людей, виновных в военных провалах.

Наконец, расколу элит серьезно способствовали разные коррупционные скандалы, происходившие на самом верху. В частности, дело военного министра генерала Владимира Сухомлинова, который, как полагали многие накануне революции, был виновен не только в измене родине, плохой подготовке российской армии, нехватке вооружений и боеприпасов, но также в продажности, в том, что свои богатства он нажил путем нанесения ущерба России. При этом Сухомлинов долгое время пользовался явным покровительством императора [Фуллер 2009: 251–263].

В условиях многочисленных военных неудач, серьезных коррупционных скандалов, связанных с войной тягот, разложения армии и начинающегося в столице хаоса даже высшее военное командование отказалось поддерживать порядок в стране и порекомендовало Николаю II отречение

от престола. Рекомендацию подписали начальник штаба государя Михаил Алексеев и все командующие фронтами, включая великого князя Николая Николаевича. К ним присоединились представители Думы, специально прибывшие к царю в ставку [Шульгин 1989: 250–262]. Интересны в этой связи размышления Василия Шульгина — одного из посланцев Думы. Он отмечал, что в стране было немало офицеров и юнкеров, теоретически способных подавить бунт в зародыше, но морально неготовых сражаться с революцией в 1917 г. Впоследствии, когда слабость демократии и «прелести» большевистского правления стали очевидны, именно эти люди составили опору Белой армии. Но было уже поздно. Раскол элит сыграл свою роль в переломный момент [там же: 218, 248].

Впрочем, все вышесказанное характеризует, скорее, позицию той части элиты, которая традиционно стояла на монархических позициях, — аристократии, армии, бюрократии. А как же демократия? Почему она не вступилась за царя, даровавшего Октябрьский манифест? Увы, отношения с демократической общественностью складывались так, что и она не могла быть вполне удовлетворена ходом событий.

Некоторые проблемы были очевидны. Например, Керенский отмечал в мемуарах, что к выводу о необходимости устранения монархии его привело согласие Николая II стать покровителем черносотенного «Союза русского народа» [Керенский 1993: 40]. Но этот факт является лишь отражением фундаментальных расхождений монархии с общественностью, напоминая расхождения, характерные для других стран в революционные эпохи. Скажем, в середине XVII века английский король Карл Стюарт демонстрировал убежденность в своем божественном праве на престол и сохранял ее даже перед казнью [Травин 2023: 309]. Подобным образом вплоть до последних дней существования монархии Романовых царская семья была убеждена в своем божественном праве, и эта убежденность, естественно, влияла на ее способность к компромиссам и умение адаптироваться к меняющейся ситуации. Вскоре после восшествия на престол (в 1895 г.) Николай II официально заявил о бессмысленности (беспочвенности) всяких мечтаний насчет земского представительства [Ольденбург 1939: 49]. И хотя в 1905 г. ему пришлось пойти навстречу этим «бессмысленным мечтаниям», царь даже перед самым концом своего правления в беседе с английским послом (в январе 1917 г.) говорил, что не он должен заслужить доверие народа, а народ — его доверие [Палеолог 1991: 209]. В беседе с великим князем Александром Михайловичем в феврале 1917 г. царица без тени сомнения уверяла, что ее супруг не может ни с кем делить свои божественные

права [Александр Михайлович 1991: 223]. Характерно, что обе эти беседы шли в интимной обстановке, и высказанные соображения явно отражали реальную позицию императорской семьи, а не были просто словами «для публики».

При таком настрое императора неудивительно, что конфронтационным оказался и настрой общественности. Неспособность сторон к конструктивному диалогу прямо вела к политическому кризису, причем можно согласиться с Борисом Мироновым, цитирующим Александра Солженицына: «...наибольшая ответственность — конечно, на власти: за крушение корабля кто отвечает больше капитана?» [Миронов 2010: 667].

Василий Маклаков — политик, принадлежавший к правому крылу кадетов, детально проследил в своих аналитических мемуарах, как складывались отношения монархии с общественностью. Он отмечал, что земское движение, сформировавшееся на волне Великих реформ, готово было идти к преобразованиям мирным эволюционным путем, но Николай II отверг этот путь, и началась «война», причем на передний план вышли в ней уже не старые миролюбивые земцы, а те новые силы, которые уже не верили в желание власти идти на реформы, а потому ненавидели самодержавие [Маклаков 2023: 139–143]. «Недоверие к бюрократии было тотальным. Его разделяли земцы, университетские профессора, гвардейские офицеры, аристократы, представители царствующего дома, да и сами чиновники. Бюрократию подозревали в совершенном незнании российских реалий и во всеобщей непорядочности. Считалось, что в столичных канцеляриях придумали свою, никогда не существовавшую Россию и установили в ней несправедливые правила. Это мало у кого вызывало сомнения» [Соловьев 2021а: 181]. В итоге даже демократизация 1905 г. оказалась таковой лишь по форме. Под ее прикрытием раскол элит лишь углублялся.

Любопытно, что эсеровский лидер Виктор Чернов, бывший чуть моложе Маклакова и учившийся одновременно с ним в Московском университете, вспоминал, как маклаковские упования на смягчение реакционного курса разбивались о правительственную политику, направленную в сторону «ежовых рукавиц» и «бараньего рога» [Чернов 1953: гл. 3]. Владимир Гурко — товарищ министра внутренних дел при Столыпине — считал, напротив, что власть имела дело с «психически больной» общественностью. Трагедия русской государственной власти состояла в том, что интеллигенция была разрушительной силой, с которой нельзя сотрудничать, что все созидательные силы ушли из

общественности в бюрократию, но при этом старая бюрократическая форма правления не могла сохраниться, поскольку перестала удовлетворять интеллигентные слои населения [Гурко 2000: 444]. При этом Сергей Витте, находившийся на стороне власти и даже возглавлявший правительство, считал в значительной степени незыблемым царя Николая II [Витте 1960б: 46–47]. Думается, Маклаков все же ближе к истине, чем его оппоненты слева и справа, считавшие, будто одна из сторон в принципе незыблема. Конструктивные силы имелись с обеих сторон, однако взаимные обиды порождали стремление ответить на них соответствующим образом, и компромисс рушился.

Максим Ковалевский — один из ученых, заложивших основы исторической социологии в России, — предположил сразу после Октябрьского манифеста 1905 г., что «наше представительство ждет та же судьба, что и представительство других стран. Правительство давало мало, депутаты требовали больше и добились перехода власти в свои руки. Ведь и английский парламентаризм начинался с простого допущения уполномоченных графских городов к выслушиванию правительственных предложений и подачи ни для кого не обязательных советов» [Ковалевский 2005: 352]. Именно так и пошло дело. Борьба интересов привела к тому, что в момент революции 1917 г. Дума стала центром притяжения революционных сил и, казалось бы, взяла власть в свои руки, но быстро ее потеряла из-за нарастающего популизма.

Формирование Государственной думы под воздействием революции 1905 г. должно было, казалось бы, настроить конфликтующие стороны на конструктивный лад: парламентарии могли бы сотрудничать с правительством. Но это «сотрудничество» лишь четче проявило углубляющийся конфликт элит. Кадетский лидер Милюков полагал, что уступки со стороны власти не могли удовлетворить общество и народ, поскольку были недостаточны и неполны, а самое главное — неискренни и лживы [Милюков 1921: 18]. В итоге совместная работа правительства и депутатов больше напоминала боксерский поединок, чем строительство конституционной монархии. Доминировавшие в Думе кадеты сочли себя не мостом между старой властью и народом, а самим народом [Маклаков 1939: 18]. И вместо того, чтобы аккуратно провести страну «на другой берег», они стали сдвигать сам «берег». Либерализм «попелся в хвосте Революции» [там же: 111]. А впоследствии октябристы подобным же образом, по оценке Маклакова, оказались в плену у правых радикалов. Вместо сотрудничества либералы стали бороться между собой [Маклаков 1940: 53]. При этом правительство, стремившееся все

больше манипулировать избирателями³, создавало себе противников «в определенных (и зачастую довольно влиятельных) кругах ценовой общественности» [Соловьев 2023: 323]. Раскол элит усугублялся тем, что царь порой противопоставлял себя всему политическому классу: не только парламентариям, но и бюрократии. «Его решения “выскакивали” “словно черт из табакерки”, нарушая уже привычный законотворческий ритм» [там же: 331]⁴.

Первая Дума сразу после революции 1905 г. захотела всеобщей амнистии, на что правительству трудно было пойти. Царь в ответ на жесткие требования народных избранников отказался принимать их депутацию, подчеркивая тем самым свое нежелание беседовать с Думой на равных. Неудивительно, что в Думе нарастало стремление подчеркнуть свою силу и сформировать правительство, ответственное не перед монархом, а перед народными избранниками. Депутаты, по сути (хоть и не по методам), солидаризировались с революцией. Они были в целом настроены, скорее, на борьбу за радикальные перемены, чем на ежедневную конструктивную работу. Когда царь распустил Первую Думу, после нее практически не осталось принятых законопроектов. Весь пар ушел в свисток. При этом сам факт роспуска резко радикализировал

³ Историк Кирилл Соловьев приводит целый ряд примеров манипулирования выборами от грубых и примитивных до изощренных. В Гомеле исправник с нарядом полиции угрозами и ругательствами заставлял крестьян класть шары лицам из губернаторского списка. А в Нижнем Новгороде губернатор на время выборов развел мосты через Оку и занял все лодки, отрезав тем самым от места голосования ту часть города, где преимущественно проживали рабочие. В Москве высшее начальство сосредоточило у себя большие суммы наличных денег, которые можно было использовать для поддержки угодных им кандидатов [Соловьев 2021б: 78–80].

⁴ Трудно согласиться с академиком Юрием Пивоваровым, который считает Николая II выдающимся государственным деятелем, внесшим огромный вклад в дело свободы [Пивоваров 2018: 26–29]. Думается, прав Ричард Уортман, утверждавший, что Николай II основывался на силовых действиях, поскольку верил в миссию, предписанную ему народным духом, и полагал, будто его направляет сам Бог [Уортман 2004б: 710]. Царь считал, что не имеет права отказаться от власти, которая завешана ему предками и которую он должен передать в сохранности своему сыну [Коковцов 1933а: 201]. Лишь под давлением общества Николай II двигался в стратегически правильном направлении, но при этом тактически совершал столь большие ошибки, что внес в итоге важнейший вклад в развал, приведший к революции. Причем, похоже, он вообще не осознавал масштаба грозившей России опасности, считая революцию 1905–1907 гг. всего лишь беспорядками, которые можно было бы предотвратить при наличии более смелых и решительных людей в государственном аппарате [Герасимов 1985: 146].

общество. «Изгнанные депутаты» приняли так называемое Выборгское воззвание, призвав народ не платить налоги и не служить в армии (т. е. нарушать законы). В ответ государство подвергло смутьянов тюремному заключению, хотя ущерба от их призыва практически не было. В общем, никто не шел на уступки. Обе стороны надеялись победить соперника нокаутом [Лукоянов 2003: 145–189]. Но победили самих себя: монархия рухнула в 1917 г., а кадеты, заправлявшие в Первой Думе, никогда с тех пор уже не имели такого влияния на политику.

Серьезной попыткой компромисса стала деятельность Петра Столыпина на посту премьера. Он пытался пригласить общественных деятелей на министерские посты в правительство, но эти люди представляли лишь явное меньшинство российского населения и вряд ли могли бы способствовать разрешению конфликта монархии с теми радикалами, которые полагали, что отражают интересы большинства⁵. Тем не менее со Второй Думой правительству Столыпина удалось худо-бедно организовать законотворческий процесс. Еще лучше пошло сотрудничество с Третьей Думой, в которой доминировали октябристы, готовые, в отличие от кадетов, на поддержку правительства реформ⁶, но эту Думу избирало всего 3 % населения России, причем механизм выборов был устроен таким образом, что побеждали в основном лояльно настроенные к монархии кандидаты [там же: 190–204].

⁵ Первую попытку призвать в правительство общественных деятелей предпринял еще Витте до думских выборов [Витте 1960а: 68–72, 102–110]. Но тогда это были даже не представители политических сил, а лишь частные лица, отражавшие взгляды правого меньшинства [Шипов 1918: 334–349]. Витте, скорее, имитировал движение навстречу обществу, чем вел поиск компромиссов. Столыпин мог бы достичь реального компромисса, но политики, которых он привлек к переговорам, требовали большинства в Кабинете, что для премьер-министра было неприемлемо [там же: 461–484]. По сути дела, столкнулись два несовместимых подхода. Политики, представлявшие общественность, исходили из того, что править страной должны избранные народом люди, а Столыпин — из реального соотношения сил, которое на фоне роспуска Первой Думы и совершенно индифферентного отношения масс к этому событию было явно не в пользу общественности.

⁶ Естественно, октябристы, желавшие поддерживать свой авторитет среди избирателей, не могли превратиться в простую обслугу правительства и в тех случаях, когда расходились с министрами по непринципиальным вопросам, отстаивали свое мнение, что не нравилось царю. Однажды Николай II сильно оскорбил лидера октябристов Александра Гучкова, фактически проигнорировав его на официальном приеме «при всем честном народе» [Шаховской 1952: 186]. Монархия не готова была поддерживать эффективное сотрудничество даже с теми, кто шел ей навстречу.

Успешный компромисс достигался лишь с той «общественностью», которая в кризисной ситуации не смогла бы успокоить страну. Эта проблема ярко проявилась в 1917 г., когда власть быстро ушла из рук тех, кто так долго к ней стремился и, казалось бы, достиг желаемого. Но попытки расширить «общественность» до размера истинной Ответственности резко снижали культурный уровень депутатского корпуса. Скажем, в Первой Думе некоторые крестьянские представители не умели ни читать, ни писать, другие пьянствовали и скандалили по кабакам, третьи имели за плечами уголовное прошлое [Крыжановский 2009: 92–94]. При всеобщем избирательном праве доля подобной публики в парламенте существенно возросла бы. Такое представительство в кризисной ситуации вряд ли оказалось бы более твердой опорой власти, чем представительство на основе цензовой демократии.

Аномия успеха

Раскол элит сам по себе не совершает революции, а лишь создает условия. Контрэлиты, перешедшие в оппозицию старому режиму, должны для его разрушения мобилизовать массы и наделить их идеями, вдохновляющими на разрушение. И вот здесь-то в первую очередь срабатывает разрушительная сторона процесса модернизации. Мартин Малиа рассматривал революцию как проблему, связанную с двумя принципиально разными образами жизни человека: традиционным и современным. Переход от одного к другому не обязательно революционен, но он во всех случаях является крайне болезненным [Малиа 2015: 309].

Для лучшего понимания проблемы ее можно сравнить с проблемой подросткового кризиса. Подросток переходного возраста порой ведет себя разрушительно — но является ли протест свидетельством ущербности? Являются ли признаком ущербности бунт, направленный против родителей, стремление подчеркнуть свою индивидуальность вычурной одеждой или прической, желание строить жизнь по собственным планам, а не по планам, сформулированным семьей и школой? Является ли признаком ущербности подростковая депрессия, связанная с непониманием смысла своей самостоятельной жизни? Нет, подростковый кризис является признаком здорового развития, а не ущербности. Инфантильный подросток, возможно, не доставит семье и школе больших проблем, но может в будущем оказаться не приспособлен к самостоятельной жизни. А переживший кризис подросток к этой жизни будет

постепенно адаптироваться. Ведь кризис является признаком того, что человек развивается, перестает быть ребенком и обретает черты, позволяющие жить без опеки. Другое дело — кризис действительно надо пережить, а не утонуть в нем, не пойти «вразнос» и не деградировать. Кризис можно пережить с большими или меньшими потерями. Можно быстро взять себя в руки, а можно сильно отстать от сверстников из-за последствий своего асоциального поведения. Конкретный ход преодоления подросткового кризиса будет зависеть как от свойств личности подростка, так и от влияния окружающей среды.

С модернизацией дело обстоит похожим образом. Общество, которое прочно засело в средневековых проржавевших скрепах (сельская община, крепостное право, самодержавие, церковный ритуал), не устроит революции (разве что смуту!), но не добьется и индустриализации с урбанизацией, не повысит уровень жизни и образования, не создаст системы социального страхования. Лишь меняющееся общество способно на развитие. Но вместе с позитивными переменами оно плодит и негативные. Революция может оказаться спутником модернизации. И это мы вынуждены принимать. Другое дело — революцию надо переживать желательно с наименьшими потерями, так чтобы общество не пошло «вразнос» и не затормозило модернизацию из-за желания вернуться к старым, спасительным скрепам, принявшим форму колхозов, тоталитаризма и единственно верной идеологии.

Думается, Борис Миронов удачно связал модернизацию с зарождением предпосылок революции, введя понятие «аномия успеха». Успех в хозяйственной сфере вовсе не противоречит появлению проблем, которые могут нарушить жизнь модернизирующегося общества. Согласно концепции Миронова, «модернизация способствует росту социальных, политических и экономических противоречий, вследствие чего чем быстрее и успешнее проходит модернизация, тем, как правило, выше конфликтность и социальная напряженность в обществе. В России, как и в других странах второго эшелона модернизации <...> рост всякого рода протестных движений порождался, с одной стороны, дезориентацией, дезорганизацией и социальной напряженностью в обществе, с другой — полученной свободой, ослаблением социального контроля и возросшей социальной мобильностью, с третьей — несоответствием между потребностями людей и объективными возможностями экономики и общества их удовлетворить. Общество испытало так называемую *травму социальных изменений*, или *аномию успеха*» [Миронов 2019: 21].

Аномия отдельного человека возникает именно от успеха страны в целом, т. е. от того, что экономика быстро развивается, растет производительность труда, многие люди вытесняются из привычных им ниш в системе разделения труда и вынуждены искать иные ниши для выживания. Если бы человек был всего лишь бесчувственной машиной, которую можно включать и выключать в любом месте в любое время, успех не имел бы, возможно, оборотной стороны. Но человек традиционного общества, не привыкший адаптироваться в новых условиях, поскольку его отцы, деды и прадеды никакой потребности в адаптации не испытывали, тяжело переживает перемены. Возможно, в новых условиях его материальное положение даже улучшается (хотя не всегда, конечно), но он страдает из-за отсутствия привычного окружения, привычного распорядка, привычных смыслов и привычного патернализма. Поэтому плохо адаптировавшийся к перемене условий человек (обычно крестьянин, перебравшийся в город) мог чувствовать себя ущемленным и легко поддаваться на агитацию разных идеологов, готовых использовать его для достижения своих целей. Город предстал перед ним в виде «жесточкой пропасти», «ненасытного вампира», «водоворота» распутства и пошлости, «проклятого места», отмеченного печатью «силы, жестокости и крови» и населенного «бездушной» и чужой «толпой» [Стейнберг 2018: 209]⁷. В таком месте аномия была неизбежна, но мог появиться «спаситель», вытаскивающий бедолагу из пропасти бездуховности, разоблачающий вампиров эксплуатации и демонстрирующий, как превратить чужую толпу в братьев по классу.

В общих чертах мы сегодня вполне можем представить себе механизм этого «спасения», поскольку в советское время специально записывались и публиковались воспоминания «сознательных» рабочих, т. е. тех, кто приобрел поверхностные марксистские знания и обратил их на службу классовой борьбе. В целом картина просвещения пролетариата выглядит примерно следующим образом. Молодой рабочий, склонный к бунтарству и в то же время задумывающийся, как ему жить, сходил на завод со старшим товарищем, интересующимся не только деньгами, гулянкой и выпивкой. Выяснялось, что этот товарищ захаживает

⁷ Премьер-министр и министр финансов Владимир Коковцов связывал революционные настроения, сложившиеся в предвоенный период, с положением дел в таких крупных городах, как Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса, Саратов, и окружающей их на 100–200 км местности. Ситуация радикально изменилась, по мнению Коковцова, лишь в связи с войной [Коковцов 1933б: 216–217].

в некий кружок, собирающийся на частной квартире. Самый простой кружок предполагал, что рабочие объединяются для совместного чтения случайно попавших к ним книжек или прокламаций. Более сложный вариант просвещения состоял в обучении, при котором некий студент проводил уроки для пролетариев, рассказывал о борьбе трудящихся за рубежом, а также помогал ученикам разбираться в относительно сложных книгах. Такого рода обучение не давало серьезных марксистских или народнических знаний, но настраивало рабочего против капитализма, рождало в его душе ненависть к эксплуатации. Вчера еще, возможно, он удовлетворялся тем, что имеет хороший заработок, приличное питание, жилье и городские развлечения, которых лишены его родные в деревне. Но под воздействием «обучения» пролетарий обращал все большее внимание на длинный рабочий день, жесткую трудовую дисциплину и незначительность доходов трудящихся в сравнении с прибылями капиталистов. «Стакан», который был наполовину полон, становился теперь наполовину пустым. Рабочий начинал искать дополнительных знаний, формировал библиотечки, включающие запрещенные книги, а также просил членов рабочего кружка и студентов-учителей сводить его со все более знающими людьми. В конце концов он мог выйти на профессиональных революционеров, втягивавших его в работу по разрушению социального строя. «Сознательный рабочий» сам превращался теперь в организатора забастовок и распространителя прокламаций, воздействовавших на новые отряды молодых пролетариев, недавно пришедших из деревни. Образовательные кружки становились порой базой для культурного сближения, формировавшего в молодой бунтарской среде духовную близость: рабочие встречались друг с другом по праздникам, пили чай, беседовали, пели революционные песни⁸.

⁸ По воспоминаниям Владимира Зензинова, написанным в эмиграции, у эсеров пропаганда в рабочей среде была поставлена примерно так же, как у марксистов [Зензинов 1953: 111–113, 122–123, 137]. Любопытно, что даже история попа Гапона развивалась примерно по такому сценарию с той лишь разницей, что полиция сама помогла харизматичному священнику достичь уникальной массовости. Георгий Гапон с соизволения властей, пытавшихся поставить под свой контроль рабочее движение, создал легальную организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», завел чайную, куда его «паства» собиралась на отдых с танцами, основал библиотеку и начал читать образовательные лекционные курсы, которые в какой-то момент стали подрывными. К 9 января 1905 г. его организация насчитывала уже 20 000 рабочих и способствовала возникновению массовой стачки, парализовавшей многие предприятия города. Когда «птены гнезда Гапона» вышли на

Сближение пролетариев между собой и общение с умными, образованными интеллигентами отдаляло этих будущих революционеров от старших родственников, которые в иной ситуации могли бы сдерживать бунтарский пыл. Пожилые, семейные рабочие в целом были настроены консервативно и редко вступали в революционные организации, хотя по знаниям, квалификации и житейскому опыту должны были бы больше походить на тех «сознательных пролетариев», на которых делала ставку марксистская теория [Ольховский 1990].

Просвещение пролетарской среды Горький показал в романе «Мать» и еще лучше в рассказе «Карамора». Но все вышесказанное относится не только к рабочим, а ко всем горожанам, не удовлетворенным жизнью и легко вовлекаемым в протест. В том числе к тем, кого марксизм именуется мелкой буржуазией. Революция представляла собой, скорее, большой бунт маленького человека, чем организованное выступление сознательных могильщиков буржуазии, предписывавшееся с середины XIX века «Манифестом коммунистической партии». «Белошвейки и банщицы, горничные и пекари, бакалейщики и приказчики, швейцары и кухарки, мастеровые и дворники оказывались втянутыми в большую политику — политика пришла на улицы, во дворы и в квартиры» [Колоницкий 2017б: 116]. Революция делалась на огромном городском пространстве, гораздо более сложном, чем пространство заводской рабочей окраины⁹. Как справедливо отмечал Борис Колоницкий, «Февраль объявил “маленького человека” гражданином. Дворники создавали профсоюзы, прачки объявляли забастовки, прислуга часы проводила на солдатских митингах. Даже проститутки создавали свои профсоюзы» [там же].

улицы и двинулись к Зимнему, случилось кровопролитие, положившее начало революции [Шубинский 2014]. Гапоновский казус стал еще одним следствием раскола элит, поскольку у Министерства внутренних дел, Министерства финансов, губернаторов и предпринимателей были разные представления о необходимости легализации рабочего движения, которые к тому же менялись в зависимости от перемены конкретных чиновников на высоких постах. Одни боялись рабочих, тогда как другие связывали с легализацией надежду на классовое сотрудничество [Спиридович 1930: 96–107; Медведев 2018]. У семи нянек, как известно, дитя без глаза. Неудивительно, что противоречивые решения властей по рабочему вопросу привели в конечном счете к тому, что процесс вышел из-под контроля.

⁹ Русская литература много лет подчеркивала фундаментальное расхождение между культурами крупного города и провинции: от гоголевского «Ревизора» до «Трех сестер» Чехова и «Варваров» Горького. И это было гораздо более серьезное расхождение, чем классовые противоречия, о которых говорит марксизм. Неудивительно, что революция вызрела как городское явление в широком смысле.

И все эти дезориентированные городской средой люди жаждали обрести кумира, способного ярко и доходчиво объяснить, как теперь надо жить. Пример Керенского хорошо демонстрирует, как легко способна увлечься огромная масса людей простыми лозунгами [Колоницкий 2017а]. Но подобных «керенских», способных промывать мозги хотя бы десятку-другому соседских обывателей, революция порождала в большом числе.

Подобным же образом складывалось положение дел и в студенческой среде. Образованные люди оказались столь же оторваны от своих «корней», столь же дезориентированы. И при этом имели значительно большие амбиции, чем пролетарии: считали себя умниками, способными быстро усвоить из книжек логику исторического развития. Опрос московского студенчества показал, что семья не имела воздействия на большинство респондентов ни при формировании мировоззрения, ни при формировании этических и эстетических чувств. Семья не руководила чтением молодых людей, а если руководила, то лишь в детском возрасте. Разрыв поколений в переходном обществе предреволюционной эпохи оказался весьма существенным. При этом школа, которая вроде бы должна в такой ситуации заменять семью, оказалась еще менее влиятельной. 86 % опрошенных заявило, что ни с кем из учебного персонала у них не сформировалось духовной близости [Изгоев 2017а: 150–153]. Неудивительно, что студенты сами стали искать себе учителей и часто находили их среди тех, кто стремился разрушить старый режим. А найдя их и усвоив новые учения, студенты становились агитаторами в той широкой городской среде, что простиралась от больших заводов до тесных дворничьих. Истинные агитаторы становились глубоко верующими людьми: «...революционная субкультура была своеобразным заместителем религии» [Колоницкий 2001: 75]. Проникнувшись новой верой и используя основы новых социальных учений, эти люди становились эффективными мобилизаторами огромной деморализованной городской массы.

Спецификой многоэтничного имперского государства было еще и то, что революция, вызревавшая в городах, поддерживалась разными этносами, стремившимися к независимости. Сергей Витте со свойственным ему цинизмом спросил как-то раз Николая II, может ли тот потопить всех русских евреев в Черном море: «Если может, то я понимаю такое решение вопроса, если же не может, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить, и это возможно при постепенном уничтожении специальных законов, созданных для евреев» [Витте 1960а: 210]. При всех отличиях положения

дел с евреями от положения дел в Польше и Финляндии, на Кавказе и Украине, а также в Остзейском крае, суть проблемы была сходной. Если нельзя уже давить местное население так, как в ходе былых польских восстаний или долгой Кавказской войны, необходимо предоставлять права. Отсутствие тех прав (от независимости для Польши и Финляндии до отмены черты оседлости для евреев), которые «национальные окраины» считают справедливыми, ведет к радикализации.

Теодор Шанин показал, из кого в подобных условиях сформировался основной отряд, совершивший революцию. Согласно классическому марксизму, сознательный пролетариат экспроприирует экспроприаторов, понимая, что ему нечего терять, кроме своих цепей. Шанин же показал, что в России опорой большевиков в 1917 г. стали, скорее, молодые рабочие, недавно приехавшие из деревни. Многие из них во время революции 1905–1907 гг. еще жили, по всей видимости, на селе и готовы были крушить все вокруг, демонстрируя, скорее, не знание железных законов истории, а склонность к русскому бунту, бессмысленному и беспощадному. Женщины и особенно влиятельные в сельской общине старики сдерживали порой этот безумный напор молодежи. Но когда бунтовщики оказались в городе, сдерживающая их сила исчезла. Нормы жизни стали совершенно иными. На смену традиционным ценностям пришли ценности, проповедуемые разного рода пропагандистами¹⁰.

В 1912–1914 гг. «обозначился раскол между старыми профсоюзными активистами, поддерживавшими в главном меньшевиков, и молодыми людьми, которые во время первой революции были детьми и подростками (причем это часто были сельские мигранты, только что приехавшие из деревни). Молодые мужчины в большинстве своем поддерживали большевиков и эсеров. Именно благодаря их поддержке большевики сумели упрочить свое влияние на петербургских заводах и фабриках в 1912–1917 гг., что стало решающим фактором в событиях рокового 1917 г. Можно по-разному гадать о причинах этого влияния, однако важно отметить, что опыт поражения и разочарований 1905 г., массовая безработица 1906–1910 гг. и зрелище неудачных попыток социалистов

¹⁰ Сдерживала еще и религия. Но «люди, которых социализм освободил от религии, оказались даже не людьми, а кровожадными, хищными зверями, опасными для всякого человеческого общежития. Лишенные связи с Богом, так, как они Его раньше понимали, эти люди оступели и морально, и умственно. Они почувствовали себя покинутыми пловцами в безбрежном море, лишенными всякой опоры, объятые вечным страхом окончательной гибели. Их садическая жестокость нередко бывала лишь следствием обуревавшего их страха» [Изгоев 2017б: 374].

удержать свое организационное влияние в период “спада” мало значили для этой группы. Они жаждали бросить открытый вызов политике “малых дел” и связанным с ней настроениям» [Шанин 1997: 302].

Эти оценки Шанина соответствуют расчетам Виталия Старцева, показавшего, что примерно две трети красногвардейцев Петрограда 1917 г. составляли рабочие от 18 до 30 лет, т. е. те, кто в 1905–1907 гг. были не старше 20. При этом меньше трети красногвардейцев родилось в Петрограде [Старцев 1965: 266–268]. Остальные, по всей видимости, имели крестьянское происхождение.

Шанин выделяет именно мужчин в качестве главной революционной силы, но для женщин были характерны те же проблемы адаптации к новой городской реальности, и они часто вели себя столь же агрессивно. «Женщины первыми врываются в хлебные и мясные лавки и на продовольственные склады и активно проявляли себя во время нападений на тюрьмы и полицейские участки. Кроме того, женщины громче всех призывали солдат не стрелять по демонстрантам, но сами вели себя на улице весьма воинственно, даже провоцируя полицию и солдат бранью и оскорблениями» [Стейнберг 2018: 226]. Можно, наверное, сказать, что в революционной «работе» существовало своеобразное разделение труда. Женщины были там, где имелась возможность добыть что-то «революционными методами» для семьи, и там, где требовалось разжалобить мужчин из противоположного лагеря. Но решающие схватки за власть с оружием в руках вели, конечно, мужчины — рабочие, солдаты и матросы. Именно они осуществили Октябрьский переворот, «победили» женский батальон, охранявший Зимний дворец с Временным правительством, и составили костяк Красной армии. Именно городские мужчины, вернувшись затем в деревню, подрывали авторитет общины и сельских старейшин, настраивая крестьян на аграрную революцию — передел земли и борьбу с помещиками [там же: 315–316].

Общую логику революционных действий в Петрограде начала 1917 г. интересно описывает Александр Шляпников, который, в отличие от других большевистских лидеров, находился в этот момент в столице, а не в эмиграции или ссылке. Начальной формой политической борьбы должна была стать уличная демонстрация, которая вовлекала в протест широкие слои рабочих и других горожан. Справиться с народом без поддержки армии царизм не мог. Но вовлечение солдат в расправу с демонстрантами должно было способствовать разложению войсковых частей и переходу их на сторону революции. Кровь, проливавшаяся на улицах в процессе этого вовлечения, не слишком волновала таких

революционеров, как Шляпников. Для них было важно, что действия, начатые активными, но безоружными горожанами, подхватывались вооруженной солдатской массой, и это фактически обеспечивало поражение царизма [Шляпников 1992б: 21]. Мемуарист, скорее всего, переоценивал значение тонкой большевистской интриги, но, как бы то ни было, многочисленные демонстрации горожан действительно способствовали революционизированию «крестьян, одетых в солдатские шинели». Если в 1905 г. армия смогла в конечном счете подавить революцию, то в 1917 г. она сама приняла в ней участие. Существует описание процесса перехода на сторону горожан солдат Волынского полка: они радикализировались, с одной стороны, под воздействием толпы, а с другой — из-за нерешительности и безволия офицеров, которые, похоже, сами не были уверены в необходимости столь жестких действий, как те, что совершила армия 9 января 1905 г. в Петербурге и под конец того же года в Москве [Как начиналась революция...].

Внимательный наблюдатель из меньшевистского лагеря, описывая увиденное им в Петрограде конца февраля 1917 г., рисует практически ту же самую картину. Масштабы движения городских масс постепенно вышли за пределы обычных заводских митингов, разливаясь по Петрограду широкой рекой. «Невский проспект и многие площади в центре 24 февраля оказались заполнены рабочими толпами. На больших улицах происходили летучие митинги, которые рассеивались конной полицией и казаками без всякой энергии и с большим опозданием». Через два дня пехота все же расстреляла демонстрантов на Невском, покрыв проспект трупами, и порядок в городе, казалось бы, восстановился. Однако в другом месте, на мосту у Петропавловской крепости, солдаты уже не слушали своих офицеров, мирно переговариваясь с горожанами, заполнившими окружающее пространство, и явно поддаваясь их революционной агитации. Наконец, на Екатерининском канале, где полиция стала стрелять по толпе, солдаты вдруг перешли на сторону безоружных людей и сами открыли огонь по стражам порядка. А 27 февраля «восставшие части войск вместе с толпами народа освободили из петербургских тюрем множество социалистических работников», после чего те вместе с солдатами и народом отправились к Таврическому дворцу, «куда уже стекались в большом числе петербургские общественные деятели различных толков, рангов, калибров и специальностей». Те воинские части, которые власть присылала в Петроград, сохраняли верность и слушались своих начальников лишь до вокзалов, а затем переходили на сторону революции. «Царизм был беспомощен: для

него не нашлось дисциплинированной роты» [Суханов 1991: 49–50, 63–65, 76, 96–98].

Таким образом, революция — это сложная совокупность обстоятельств: раскол элит, ослабляющий государство; формирование контрэлиты, вносящей в городскую среду разрушительные идеи; радикализация этой среды в духе «кто был ничем, тот станет всем»; благоприятствующая радикализации внешняя среда (большая война или серьезный экономический кризис); вовлечение в разрушительные действия солдат, крестьянство и жителей дальних «национальных окраин».

Английская революция

События, породившие русскую революцию, в общих чертах напоминали события других европейских революций. Конечно, если мы смотрим на проблему глазами историка, то находим между ними массу важнейших различий, однако при выделении ключевых историко-социологических причин сходство бросается в глаза. Проще говоря, понять характер трагедии можно при изучении любой революции, но, если мы хотим расцветить ее национальными красками, каждая революционная страна оказывается несчастлива по-своему.

Английская революция была бы невозможна без раскола элит. Парламент выступил против короля и стал центром притяжения тех сил, которые хотели ограничить власть Стюартов. Залогом успеха этого выступления стала уникальная для европейских стран XVII века мощь английского парламента, который можно сравнить только с польским сеймом [Травин 2023: 241–259]. Любопытно, что примерно в те же годы случилась французская Фронда, но король мог уже править страной без Генеральных штатов, и фрондеры не имели такого центра притяжения и такой легитимности, как английские революционеры. Парижский парламент, который был судом, а не органом сословного представительства, революцию на себе не потянул.

Раскол английских элит стал следствием совокупности обстоятельств.

Во-первых, Карл Стюарт предъявлял обществу финансовые требования, которые оно не считало возможным удовлетворять, поскольку не видело, как деньги, переданные королю, могут принести пользу самим налогоплательщикам. Он желал, в частности, вмешаться в большую религиозную войну, идущую в Германии [Акройд 2021: 156–171], но какое дело было островитянам до резни, происходившей на континенте?

Абсолютистские режимы Франции и Кастилии выкачивали налоги без санкции сословий или при их вялом, пугливом сопротивлении, но в Англии такое оказалось невозможным, поскольку монарх, правивший на острове, традиционно не обладал сильной сухопутной армией. Когда началась гражданская война, обе стороны стали формировать армию, и парламентская в конечном счете оказалась сильнее.

Во-вторых, большое значение имел раскол элит по религиозным вопросам. Со времен реформации, случившейся при Генрихе VIII Тюдоре, прошло около ста лет, но проблема не утряслась. Официальная англиканская Церковь, с одной стороны, опасалась возрождения католичества, а с другой — наступления со стороны разных протестантских Церквей. Архиепископ Кентерберийский при правлении Карла I стремился укреплять англиканство [там же: 229–231] и маргинализировать всех диссидентов, но на этом фоне формировались различные группы интересов, стремившиеся к усилению своих позиций не только в области финансов, но и в сфере идей, что ярко проявилось в ходе гражданской войны. Конечно, религиозная проблематика находилась в центре и Тридцатилетней войны, шедшей на континенте. Но если там конфликт принял традиционную форму борьбы монархов и принцев, в которой бюргерство лишь участвовало, то в Англии, где центром притяжения разных сил стал парламент, интересы бюргерства играли значительно большую роль.

В-третьих, в английском обществе XVII века созрел раскол по такому фундаментальному вопросу, как суть власти. Одна часть полагала, что королевская власть происходит от Бога и не может существовать никаких ее ограничителей. Другая упирала на значение Великой хартии вольностей и, следовательно, на права народа. Стюарты стояли на первой позиции так, как будто на дворе был XII век, а не XVII столетие. Они готовы были применять различные схоластические рассуждения для обоснования своих прав, но не учитывали реальный политический вес разных социальных групп, реальные ресурсы, которые находились в их распоряжении. Характеризуя Якова I, историк Александр Савин иронично отметил, что из него вышел плохой король, но мог бы выйти хороший член университетского колледжа или профессор [Савин 2000: 58]. Неспособность Стюартов создать широкую коалицию в поддержку монархии серьезно усилила революционную коалицию.

В-четвертых, сказалась личная непопулярность Карла I, и те политические ошибки, которые он допускал. Стюарты пришли к власти после весьма популярной королевы Елизаветы I, и сравнения обычно

были не в их пользу. Каждая ошибка в этой ситуации была вдвойне опасна, а Карл это плохо понимал. В частности, из-за нехватки денег он наложил на страну принудительный заем, превышавший по размеру парламентские субсидии, и пытался собирать так называемые корабельные деньги, которые народ не желал платить. Король арестовывал парламентариев, сопротивлявшихся его жестким действиям, и юристы апеллировали к Великой хартии вольностей в связи с нарушением прав англичан. Хотя с XIII столетия Magna Carta постоянно нарушалась, в XVII веке возник раскол между той частью элиты, которая ставила на первое место права монарха, и той частью, которая полагала, что король получает свои права от народа [Акройд 2021: 177–188, 204–207, 214].

В условиях раскола элит, противостояния короля с парламентом и формирования двух армий для ведения гражданской войны, большую роль сыграла революционная мобилизация масс. Если король имел опору преимущественно в аграрных районах Северо-Востока страны, то парламент опирался на Лондон и экономически развитый Юго-Восток — районы, «примыкавшие» к континенту и сильно поднявшиеся в XVI–XVII веках на морской торговле. Лондон стал крупнейшим европейским мегаполисом, да и в целом на Юго-Востоке активно шла урбанизация. Переселявшиеся в города крестьяне теряли традиционные точки ментальной опоры (община, лендлорд, церковь), подвергаясь разнообразной агитации — религиозной и политической. Причем значение религиозных идей было особо важно для расширения масштабов противостояния. Когда речь идет о борьбе не только за сиюминутные интересы, а за решение фундаментальных, жизненных вопросов, революция становится особо ожесточенной и продолжительной. Множество ее участников с готовностью отдает жизни за «светлое будущее», «спасение души», «величие нашей веры» и т. д.

Особое значение богатых городов для развития революции проявилось в ходе гражданской войны. Именно королевское войско страдало от безденежья, недостатка оружия и одежды [Савин 2000: 344]. Парламентской армии, опиравшейся на богатую часть общества, кормиться и экипироваться было значительно легче.

В Лондоне начала XVII века уже сформировалось многое из того, что триста лет спустя появилось в Петрограде. Там находилась огромная деморализованная масса бедных людей, представлявших собой горожан в первом или втором поколении. Там находился парламент — интеллектуальный центр, выдвигавший новые идеи и притягивавший к себе обывателей, стремившихся понять, как им следует жить. Там находилась

арена борьбы нового со старым, хотя, как и в России XX века, поле битвы расширилось со временем до масштабов всей страны, переведя локальную городскую революцию в большую кровопролитную гражданскую войну.

По похожему сценарию развивались все французские революции XVIII–XIX веков. Ареной борьбы становился в первую очередь Париж, где формировались все социальные противоречия, тогда как провинция (например, Вандея) могла стать местом сосредоточения консервативных сил. Несколько иной была картина революции в менее центростремительных странах, чем Англия, Франция и Россия. Например, в Германии, Италии и Испании большое значение, наряду со столицами, имели другие крупные города, а к основным раздирающим общества противоречиям добавлялись межрегиональные конфликты. Но в целом значение раскола элит, массовой революционной мобилизации горожан и воодушевляющих на борьбу идеологий здесь также было определяющим.

Бастилия пала, а хлеба нет

Революция может провозглашать разные идеи переустройства общества, но в реальной жизни — это распад государства [Гайдар 2009; Мау 2017]. Состояние дел в разных постреволюционных обществах, разрушавших государство и экономику, оказалось схожим. Специфика исторического пути каждой страны вносила определенные коррективы в темпы инфляции или масштабы дефицита, но хозяйственный развал в той или иной степени стал неизбежен из-за слабой власти. Она могла порой расстреливать множество людей или отправлять их на гильотину, но не могла собрать налоги или умерить популистские требования масс. Россия времен гражданской войны на европейском фоне не выглядит как-то особо плохо.

Французским революционерам 1789 г. казалось, что достаточно уничтожить старую власть, как все само собой наладится. Но не наладилось. Жизнь стала значительно тяжелее. «Для парижского общества остается совершенно непостижимым одно: почему теперь, когда Бастилия пала, а свобода Франции восстановлена, хлеб должен оставаться таким же дорогим? <...> Что же, это аристократы скупают хлеб?» [Карлейль 1991: 156]. Естественный вывод, к которому приходили не слишком тонко мыслящие сторонники всеобщего господства разума, состоял в том, что надо пресечь спекуляции. Фиксации цен (таксации), сопровождавшиеся разгромом господских усадеб, продолжались по всей

стране непрерывно. А с усилением системы народного регулирования усиливался и голод. Не помог даже сбор нового урожая. «Еще только октябрь, а голодающий народ в предместье Сант-Антуан в припадке ярости уже захватывает одного булочника по имени Франсуа и вешает его, безвинного, по константинопольскому образцу, однако, как это ни странно, — иронично замечает Томас Карлейль, — хлеб от этого не дешевет» [там же: 195].

Экономика страны еще не успела осмыслить, какие выгоды она получила благодаря осуществленной революционерами отмене административных ограничений, но уже пришла в состояние, при котором производство становится невыгодно. Формально в Париже была власть, очень гордившаяся тем, что она представляет интересы народа. Но на самом деле властью она не являлась. Собственники чувствовали себя незащищенными. Их имущество могло быть в любой момент уничтожено восставшей толпой, а их стремление заключать выгодные сделки подрывалось таксацией. Возник парадокс: принятая Учредительным собранием Декларация прав человека и гражданина провозгласила собственность священной и неприкосновенной, но на деле собственнику стало даже хуже, чем при старом режиме.

В 1790 г. урожай был неплохим, и власть как-то еще сохраняла порядок, но уже в 1791 г. продовольственные волнения и народная таксация восстановились [Ревуненков 1989: 131, 162]. К хлебному кризису добавился еще и кризис сахарный, связанный с волнениями и погромами на Сан-Доминго. Реакция народа на нехватку сахара была все такой же — фиксировать цены. Не изменилась и реакция рынка — сворачивание продаж. Чем тяжелее становилась жизнь и чем большее влияние на власть мог оказывать народ, тем активнее становилось стремление к легитимации стихийной таксации, к пресечению попыток организовать свободную торговлю. «Мы ждем от вас, — говорилось в петиции сент-антуанского предместья Законодательному собранию в январе 1792 г., — что вы <...> издадите репрессивный закон, но такой справедливый, что он обеспечит имущество честных купцов и обуздает скупость тех купцов, которые готовы были бы, пожалуй, скупить все, вплоть до костей патриотов, чтобы продать их аристократам» [Матьез 1928: 35]. Законодательное собрание, где доминировали в тот момент жирондисты, сопротивлялось давлению, как могло, принимая порой даже репрессии против народных таксаторов. Но во многих случаях солдаты не хотели исполнять «антинародные приказы» [Ревуненков 1989: 165]. Власть не справлялась с делом защиты собственности.

Вождь жирондистов Жан-Пьер Бриссо, понимавший всю степень опасности, обрушивался с жесткой критикой на своих оппонентов слева. «Дезорганизаторы — это те, кто хочет все уравнивать: собственность, достаток <...> даже таланты, знания, добродетели, потому что у них самих ничего этого нет» [цит. по Кропоткин 1979: 276]. Но Бриссо и его единомышленники были бессильны. Умеренные должны были отступать под давлением народной стихии. Низы требовали законодательно установленного максимума, выше которого нельзя поднимать цены на хлеб. Некоторые энтузиасты ставили вопрос о переделе собственности [Ревуненков 1989: 210]. После того как с сентября 1792 г. власть перешла к Конвенту, избранному без имущественных цензов, рынок стал трещать по швам. Сначала стремились организовать торговлю хлебом по дотируемым ценам, но денег на дотации постоянно не хватало, и в Париже появились бешенные очереди. Люди голодали, бунтовали — и тем самым еще больше подрывали стабильность хлебной торговли. «Фермеры, земледельцы, — отмечал министр внутренних дел Жан-Мари Ролан, — не осмеливаются больше показываться на рынке, вывезти или продать мешок муки: каждый боится быть зарезанным под предлогом обвинения в скупке» [там же: 238]. Правительство распорядилось, чтобы департаменты доставляли продовольствие в столицу, но дороги были в ужасном состоянии, а лошадей не хватало из-за реквизиции для военных нужд [Кропоткин 1979: 339]. Администрирование в условиях развала центральной власти не давало позитивных результатов.

Совет Парижской коммуны принял в мае 1793 г. решение о принудительном займе 12 млн ливров у богатых. В других регионах пошли по тому же пути. Конвент утвердил миллиардный заем. Революционеры с радостью заявляли, что «слезы богача-эгоиста станут радостью для добродетельного санкюлота, приносящего пользу отечеству» [Гавриличев 1988: 133–146]. По сути, займы представляли собой конфискацию. Революция, провозгласившая защиту собственности, зашла в тупик. Государство приступило к грабежу своих граждан. Как говорил один из влиятельных членов Конвента, «вся Франция, сколько бы она ни заключала в себе людей и денег, должна быть поставлена под реквизицию» [Карлейль 1991: 473]. Но даже грабить надо умеючи. Конвент не обладал информацией о том, кто сколько денег имеет и, соответственно, не мог четко занять (точнее, изъять) предписанное. Потенциальные кредиторы скрывали деньги, а продавать их имущество ради получения наличных было совершенно невозможно. Республика не могла распродать даже то, что конфисковали еще в 1789 г. Реально по миллиардному займу

удалось получить не более 200 млн [Кропоткин 1979: 319]. Из-за нехватки средств на дотации лишь в отдельных регионах добились того, чтобы булочки выпекали так называемый хлеб равенства, продававшийся по 3 су при рыночной цене хлеба в 10 су. Булочки получали компенсацию за счет богачей, а тех, кто отказывался подчиняться новым порядкам, выставляли на площадях с повешенной на груди табличкой «Губитель народа, предатель отечества!» [Матъез 1995: 442–443].

Дотирование было тогда еще сравнительно меньшим злом, единственным способом избежать таксации. Но вот наконец настал момент, когда сопротивляться народным требованиям об установлении максимума цен оказалось невозможно. Конвент, наверное, понимал, насколько сильный удар по экономике нанесет максимум, но политика уже подчинила себе экономику. Один из полицейских агентов доносил министру внутренних дел: «Я, конечно, согласен с тем, что введение максимума приведет нас прямо к неизбежной гибели, но для данного момента оно необходимо. <...> Якобинцы слишком хорошо знают, что нельзя сопротивляться народу, когда нуждаешься в нем» [Добролюбский 1930: 26–27]. 4 мая 1793 г. Конвент принял решение: каждый департамент должен был установить максимально допустимый уровень цен на хлеб, исходя из сложившихся там за последние месяцы условий. Осенью максимум был распространен в целом на предметы потребления первой необходимости. Кроме того, предписывалось ограничить рост зарплаты надбавкой в 50 % к прошлогоднему уровню [Sydenham 1985: 151, 178]. Другими важнейшими элементами новой хозяйственной системы стали монополия внешней торговли и административное управление предприятиями, работающими на нужды армии. Даже при старом режиме не было такой степени администрирования, какой ввела революция. Наказанием за нарушения могла быть смертная казнь.

Трагизм ситуации состоял в том, что убежденных сторонников максимума было немного даже среди левых революционеров — монтаньяров. Нелепость жесткого администрирования понимало большинство образованных людей. «Продовольственные законы были <...> своего рода импровизированным законодательством, навязанным Конвенту стечением обстоятельств и бунтом. Подавляющее большинство Конвента оставалось убежденным противником если не всякой регламентации, то, по крайней мере, всяческих такс» [Матъез 1928: 279]. Но поскольку реальной власти, способной обеспечить проведение тех решений, которые она считала необходимыми, не существовало, экономической

политикой заправляла толпа, подверженная страстям и не осознававшая, что творит. Революция оказалась в плену стихии, которую она сама же и породила. Подобный печальный исход тех действий революционеров, которые они начинают осуществлять обычно в условиях кажущейся абсолютной свободы, является закономерным этапом в развитии всех революций. «Поэтому нет ничего более далекого от истины, чем широко распространенное представление о радикалах как о твердолобых догматиках, огнем и мечом насаждавших собственные, оторванные от реальности идеи. <...> Радикалы приходят к власти в кризисных условиях, когда настоятельно требуется обеспечить единство общества, противоречивость интересов в котором уже в полной мере дала себя знать. Для достижения этого единства они используют все доступные им средства: насилие, навязывание общих идеологических установок, активное финансовое и социальное маневрирование. Причем выбор этих средств и определение конкретных мер экономической политики детерминированы не столько идеологией, сколько задачами текущего момента» [Стародубровская, Май 2001: 134, 143–144]. Французские радикалы были детерминированы толпой, заполнявшей парижские улицы и требовавшей мер, вызывающих ужас у экономистов.

Как только ни пытались власти задобрить бедноту! Незадолго до принятия закона о максимуме появился декрет, согласно которому каждый бедняк получал 40 су только за хождение на митинги [Aftalion 1990: 169]. Но и это не помогало. Якобинцы, стремясь возобладать над жирондистами, пошли на союз со сторонниками крайних мер. Насилие над экономикой стало расплатой за уничтожение жирондистов [Матьез 1995: 368]. Максимум привел к результатам, которые нетрудно было предсказать. «Как только были обнародованы твердые цены, прилавки магазинов опустели. <...> Самые необходимые для жизни продукты теперь можно было приобрести лишь на черном рынке, где все стоило втридорога» [Ревуненков 1989: 342]. Но эти цены не слишком пугали богачей, резонно опасавшихся того, что дальше станет хуже, и скупавших все, что позволял их кошелек [Добролюбский 1930: 36]. Получалось, что мера, введенная по желанию городской бедноты, именно ее и оставила без хлеба. Осложняло положение еще и то, что максимумы вначале устанавливали департаменты (поскольку издержки производства хлеба были в разных местах разными), а потому из регионов с низкими ценами хлеб уходил туда, где максимум был высоким [Aftalion 1990: 135]. Власти департаментов пытались запрещать вывоз за пределы своего региона, но это плохо помогало решению проблемы.

Фиксировать цены административным путем так, чтобы продажа покрывала хотя бы себестоимость, очень сложно, а в условиях высочайшей инфляции, которая тогда бушевала во Франции, практически невозможно. Введение максимума грозило полным параличом всей экономике и таким страшным голодом, какого не бывает в условиях свободной торговли. Революционеры это понимали, а потому вынуждены были определять методику изменения максимума в связи с объективным движением издержек производства. В ноябре 1793 г. было начато масштабное расследование для определения реальной стоимости товара, но оно так и не было завершено [Кропоткин 1979: 342]. Объективной статистики не имелось. Реальные издержки власть узнать не могла, а приходившая к ней информация была столь искаженной, что, основываясь на ней, можно было, скорее, усугубить положение, чем исправить.

Ситуация с хлебом становилась катастрофической. Очереди превращались в драки. Голодный народ набрасывался на крестьян и заставлял их продавать хлеб даже не по ценам, соответствующим максимуму, а по тем, которые считал справедливыми. И это происходило в стране, в которой, по общему мнению, не было оснований для голода [Матьез 1928: 346]. Наступило отчаяние. «Экономисты» революции соревновались между собой в том, кто придумает более безумный способ нормализации дел. Искали новые земли под распашку. Одни предлагали осушать пруды, другие — сводить старинные парки, третьи — вырубать виноградники и засеивать освободившееся место хлебом [там же: 329–338]. А народ тем временем переходил от теории к практике, выращивая картошку в Люксембургском саду и в саду Тюильри [Aftalion 1990: 151]. Там же, кстати (а также в Пале-Рояле и Доме инвалидов), размещали и оружейное производство [Lefevbre 1964: 103].

Революционеры создавали систему контроля друг за другом в надежде найти то узкое место, через которое утекает продовольствие. Дело дошло даже до назначения комиссаров-дегустаторов, пробовавших вина и водки, чтобы избавить народ от разбавления их водой. Наконец, администрирование дошло до продрозверстки — реквизиции продовольствия в деревне и установления карточек на хлеб и мясо в городе [Ревуненков 1989: 344, 347]. Погреба, амбары, житницы посещались комиссарами, имевшими право просматривать фактуры [Матьез 1995: 402]. Карточки на хлеб сняли проблему голода к концу 1793 г., но счастья не принесли. В очередях за другими продуктами и топливом случались побоища, малосовместимые с идеями свободы, а особенно равенства

и братства. «Идеологи» наряду с экономистами предлагали способы выхода из кризиса. Например, введение гражданского поста для уменьшения спроса на скромную пищу [Добролюбский 1930: 46–68]. Интересно, что именно в тот момент (июнь 1793 г.), когда частная собственность совсем перестала считаться, Конвент принял конституцию, в которой гарантировалась ее неприкосновенность [Ревуненков 1989: 300]. Циничное объяснение этому дал Луи Антуан Сен-Жюст: «Собственность патриотов священна, но имущество заговорщиков может быть роздано всем несчастным» [Манфред 1983: 179]. Конституционные гарантии такого рода были весьма условны в политической ситуации, когда любой патриот за день-другой мог превратиться в заговорщика.

Тем временем, поскольку жизнь от администрирования не становилась лучше, стали все громче раздаваться голоса крайних революционеров, прозванных «Бешеными». Они пытались национализировать всю торговлю [Кропоткин 1979: 373–374]. От власти, неспособной даже собрать налоги, требовали организовать всю торговлю. Лучшего способа угробить страну трудно было придумать. С «Бешеными» расправился Максимилиан Робеспьер, отправив их на гильотину. После термидорианского переворота туда же отправили и самого Робеспьера.

Если усиленное революционное администрирование было следствием дирижистских идей, формировавшихся еще при старом режиме, то инфляция стала следствием бюджетного дефицита, резко возросшего при правлении Людовика XVI. Если в 1775 г. он составлял 14 % к правительственным расходам, то в 1788 г. — уже 43 % [Фалькнер 1919: 2]. Король стал рабом собственного долга. Для обслуживания старого долга требовалось влезать во всё большие долги. Дело рано или поздно должно было кончиться дефолтом, но революция изменила ситуацию. Национальное собрание, возникшее на основе Генеральных штатов, собранных Людовиком, в известной мере состояло из буржуа, финансировавших госдолг, и в еще большей степени из кредиторов казны состояло сменившее его Законодательное собрание [Кунов 1923: 42]. Депутаты быстро нашли «крайнего», который должен был расплатиться. Они национализировали имущество Церкви. План предполагал продажу церковных и королевских земель, к которым позднее добавились еще земли эмигрантов, контрреволюционеров и иностранцев. Но быстро продать столь большое имущество было невозможно, а по долгам требовалось расплачиваться регулярно. Выход из положения подсказал генеральный контролер финансов Жак Неккер: можно эмитировать специальные билеты (сейчас бы сказали — ваучеры) для покупки приватизируемой

собственности. Их и впрямь выпустили в конце 1789 г., но, как только стало ясно, что они становятся своеобразными деньгами, которыми можно расплачиваться с народом, план рухнул. «Бумажек», которые получили название ассигнаты, выпускали всё больше. Сдержанный подход Неккера стал превращаться в широкомасштабную авантюру. «Пока есть старые тряпки, не будет недостатка в средствах обращения, а будут ли они обеспечены товарами — другой вопрос» [Карлейль 1991: 189]. Неккер пытался противиться подобному повороту дел [Aftalion 1990: 69; Алексеенко 1872: 361], но его не слушали. Задачи текущего момента отодвинули интеллектуалов от принятия решений. Депутаты шли по пути наименьшего сопротивления для того, чтобы создаваемая ими система могла выжить. В апреле 1790 г. срок погашения ассигнат был отложен на неопределенное время, а для использования их в торговле ввели фиксированный курс. Затем власть отменила процентный доход по ассигнатам, окончательно превратив их из ценных бумаг в малоценные бумажные деньги [Фалькнер 1919: 37–40]. Объем денежной массы начал быстро расти, а вместе с тем стало расти и недоверие к «бумажкам».

Идеологическое обоснование эмиссии ассигнат дал один из лучших ораторов революции граф Оноре де Мирабо, заявив в 1790 г., что экономика может нормально развиваться, лишь получив достаточное количество денег в обращении. Иную точку зрения высказал Пьер Дюпон де Немур, обративший внимание на то, что подобный эксперимент с деньгами уже проводил во Франции Джон Ло и это закончилось катастрофой. Мари-Жан Кондорсе объяснял, что для развития бизнеса нужно время и, пока он не адаптировался к новой ситуации, ассигнаты будут обесцениваться [Aftalion 1990: 78–83]. Но депутатам выгоднее было прислушаться к оптимистичному Мирабо, чем к Дюпону и Кондорсе. Власти продолжали наращивать денежную массу. Сначала закон четко определял размер каждого очередного выпуска ассигнат, и это позволяло хотя бы контролировать темпы инфляции. Но с каждым разом объем эмиссии становился все больше. Наконец, с февраля 1793 г. деньги уже печатали просто по мере надобности, не утруждая себя подсчетами [Смирнов 1921: 10–13].

Нарастание эмиссии было связано не только с безответственностью властей, но и с объективными обстоятельствами. Революция попала в плен собственных решений, причем каждое из них во многом было предопределено наследием, доставшимся от старого режима, а также идеями, с которыми страна из этого режима выходила.

Во-первых, революция осуществила налоговую реформу, чтобы равномернее распределить бремя между различными слоями населения, а не только возлагать его на крестьянство. Отменили косвенные налоги и, в частности, ненавидимую народом габель (соляной налог). Но прямые налоги собирать сложнее. Старый режим собрал в 1788 г. лишь 179,3 млн ливров прямых налогов и 248,5 млн косвенных [Ревуненков 1989: 18]. Понятно, что в такой ситуации налоговая реформа сильно ударила по бюджету. Никакой рост прямых налогов не мог компенсировать потери.

Во-вторых, с прямыми налогами дело тоже обстояло плохо. Выколачивать их из крестьян так, как раньше, революционеры не могли, и собираемость снизилась [Кропоткин 1979: 118]. Более того, пока сохранялся королевский двор, депутаты торпедировали его действия отказать вводить новые налоги [Матъез 1995: 125].

В-третьих, инфляция обладает способностью обесценивать даже те налоговые поступления, которые оказываются в казне, если деньги не расходуются сразу. Причем чем выше рост цен, тем быстрее падает платежеспособность бюджета.

В-четвертых, инфляция не стимулировала производство, как надеялся Мирабо, а подорвала, поскольку бизнес утратил смысл что-то делать за обесценивающиеся деньги. Соответственно, из-за падения производства сократилась налоговая база. Все ударились в спекуляции ради выживания: парикмахер торговал селедкой, прокурор — шелком, слесарь — кошенилью, стекольщик — полотном, почтальон — сахаром. Даже рабочие покидали свои мастерские [Добровольский 1930: 185–186].

Финансовая система дошла до такой деградации, что единственным видом производства, имеющим значение, стало производство денег. Экспедиции, занимавшиеся выпуском ассигнат, работали 14 часов в день. Рабочие доходили до физического изнеможения. Им давали специальный паек, однако вскоре возникла другая проблема — кончилась бумага. Но зато появлялось множество фальшивых ассигнат, поскольку при том качестве печати и той информированности населения, которая была в XVIII веке, делать деньги «на стороне» было несложно.

А в это время роль налоговых поступлений по сравнению с ролью эмиссии стала ничтожной. В 1793 г. они составили лишь 0,8 % от государственных расходов [Далин 1983: 56]. Когда же начались революционные войны с соседними монархиями, доходы казны оказались в несколько раз меньше одних лишь военных расходов [Матъез 1995: 316]. Робкие попытки трезвых голов заявить о том, что такая внешняя политика стране не по карману, сталкивались с упертостью революционеров.

Пьер-Жозеф Камбон, известный фразой «Мир хижинам, война дворцам», изрек еще одну мудрость: «У нас денег более чем достаточно» [там же: 183]. И неудивительно. Ведь именно он заведовал денежной эмиссией в период ее пика. Революционеры полагали что, победив тиранов и насадив свободу в соседних странах, они смогут вернуть доверие к французской экономике, а ассигнаты распространятся по всей Европе, перестав обесцениваться благодаря большому спросу на них [Матьез 1928: 38].

На самом деле обесценивание продолжалось все то время, пока печатали новые деньги. Если в январе 1791 г. ассигнаты стоили 91 % от номинала, то к февралю 1796 г. — лишь 0,29 % [Смирнов 1921: 21]. В представлениях простых людей плавающий курс бумажных денег был следствием не столько волюнтаристской политики властей, сколько корысти менял, стремившихся нажиться на тяготах народных. В 1793 г. популистски настроенная Парижская коммуна потребовала принудительного приема ассигнат по фиксированному курсу. Вскоре появился декрет, запрещающий использование в обороте металлических денег и устанавливающий принудительный прием ассигнат всеми продавцами [Фалькнер 1919: 47]. Борьба с инфляцией подобными «оригинальными» мерами представляла собой нечто вроде борьбы с головной болью путем использования гильотины, изобретенной Французской революцией. Если параллельное использование в обороте бумажных и металлических денег даже при высочайшей инфляции сохраняло производство и торговлю, то теперь заработанное нельзя уже было обратить в полноценную монету. Хозяйственная жизнь превратилась в выживание. Производить что-то сверх минимальной потребности и продавать излишки на рынке больше не имело смысла.

Пик администрирования пришелся на время якобинской диктатуры. Незадолго до своего падения якобинцы — будто у них имелись на это деньги! — успели ввести бесплатную систему всеобщего начального образования, пенсионную систему, медицинское обслуживание на дому и материальную помощь матерям [Lefevbre 1964: 114]. На этом их игры с экономикой закончились. Осознание того факта, что дальнейшее усиление администрирования на фоне безумной эмиссии погубит страну, стало приходить лишь после термидорианского переворота (июль 1794 г.). Термидорианцы вновь разрешили использовать металлические деньги при сделках, но даже больше якобинцев налегали на печатный станок, поскольку при отсутствии твердой власти невозможно было справиться с обязательствами по платежам. Вместе с ускорением инфляции в Париж

пришел страшный голод, которому не могла теперь противостоять даже карточная система.

В 1796 г. Директория торжественно уничтожила на Вандомской площади оборудование для печатания ассигнат, но уже через месяц появился закон о выпуске новых бумажных денег — так называемых территориальных мандатов. Обеспечить «бумажки» вновь пытались продажей земель из государственного фонда (на этот раз без торгов, по фиксированной цене), но она, скорее, способствовала спекуляциям, чем росту бюджетных доходов. Например, человек, купивший лес на корню и затем продававший бревна, получал 800 % на вложенный капитал [Sydenham 1973: 99]. В период правления Директории масштабы эмиссии ускорились. Деграция монетарной системы дошла до того, что в какой-то момент право выпуска территориальных мандатов было продано частной компании за единовременно выданную крупную сумму. После разразившегося в связи с этим страшного скандала бумажные деньги прекратили свое существование [там же: 98]. Директория аннулировала их, но тут же вновь встал вопрос: как быть с госдолгом и текущими платежами? Правители стали определять, с кем государство должно рассчитываться в первую очередь, а кто может потерпеть. Такой подход вызвал административный хаос. В итоге получатели бюджетных денег часто брали на руки приказ об осуществлении выплат, выписанный на конкретную кассу сборщиков доходов (находившуюся часто в отдаленном районе страны), и стремились как можно быстрее самостоятельно добыть там деньги. «Можно было наблюдать, как курьеры заполняют дороги и стараются обогнать друг друга, чтобы прибыть первыми и опустошить кассы, на которые у них имелись приказы [Смирнов 1921: 116]. Финансовая стабилизация была осуществлена лишь при Наполеоне благодаря восстановлению дееспособного государства и отказа от принятия популистских решений.

Веймарская Германия в борьбе с инфляцией

В Германии поистине разрушительный характер носила революция 1918 г. Если судить по ее политической истории, то она не кажется столь тяжелой, как, скажем, Великая французская революция, Русская революция 1917 г. или Гражданская война в Испании 1930-х гг. Но на самом деле революционный распад государства обусловил тяжелые экономические последствия, напоминающие последствия распада французского

государства в конце XVIII века. Различие состояло в основном в том, что Франция к 1789 г. уже долго страдала от тяжелого бремени государственного долга, связанного с непосильными военными расходами, а Германия вошла в долговой кризис за время Первой мировой войны, но в большей степени испытала трудности после поражения, поскольку оказалась обложена с головы до пят репарациями, резко увеличившими долговое бремя.

Немецкое правительство долго торговалось с победителями. За период с июня 1920 г. по май 1921 г. сумма репараций, предъявленная Германии, снизилась в два раза. Но оставшаяся сумма была чрезвычайно высокой в сравнении с возможностями разоренного войной и послевоенными экономическими трудностями государства. Перелом произошел в августе, когда Германия должна была осуществить первый платеж. Почти половину необходимых денег удалось занять, но профинансировать оставшуюся часть платежа можно было лишь посредством резкого ускорения темпов денежной эмиссии [Bresciani-Turroni 1937: 95]. Правительство выбросило на мировые биржи 50 млрд бумажных марок разом для того, чтобы получить золото и валюту [Сказкин 1970: 72–74]. Ускорение эмиссии ускорило инфляцию, а это, в свою очередь, включило механизм дальнейшего разгона цен. Рухнул курс немецкой марки. Если до осуществления первых выплат по репарациям доллар стоил примерно 60 марок (до войны — 4,2 марки), то в ноябре 1921 г. — 310 [Craig 1978: 440]. Германию захлестнула волна пессимизма. Никто не верил уже теперь в будущее национальной валюты. Паническим бегством от марки воспользовались спекулянты. Они открыли массированную атаку на немецкую валюту, и это сыграло свою роль в дальнейшей деградации германской экономики [Bresciani-Turroni 1937: 61, 96].

Следующий толчок развитию инфляции дало убийство министра иностранных дел Вальтера Ратенау в июне 1922 г. Этот сильный политик имел шанс договориться с кредиторами. Но теперь достигать приемлемого соглашения было некому. Марка рухнула. В этой ситуации положение дел усугублялось тем, что правительство, пытаясь поддержать страдающие от инфляции слои населения, еще активнее налегало на эмиссию. Две тысячи станков печатали банкноты день и ночь. Появились анекдоты, отражающие положение дел, столь необычное для стабильной в былые времена Германии. Поговаривали, что в такси имеет смысл расплачиваться в начале поездки, поскольку к концу тариф успеет вырасти, а посетителю в баре стоит заказывать сразу две кружки пива, так как к моменту, когда он расправится с первой, вторая

уже подорожает. У обывателя формировалась своеобразная система мышления, основанная на инфляционных ожиданиях. Типичную для Германии того времени картину нарисовал Эрих Мария Ремарк в «Черномobeliske». Герой начинает свой день с требования повышения зарплаты. Его удовлетворяют, но к полудню поступает сообщение о новом курсе доллара, и выясняется, что на дневной заработок уже ничего не купить. Герой вновь требует повышения, не дожидаясь вечера. Понятно, что нормальное существование в такой ситуации невозможно.

Очевидно, в этот момент наметилось изменение отношения к инфляции. Поначалу рост цен был выгоден не только значительной части бизнеса, но и рабочим, поскольку он перераспределял национальное богатство от кредиторов, рантье и пенсионеров к производителям. Однако с наступлением гиперинфляции, когда деньги потеряли всякую ценность, промышленники и профсоюзы в ней разочаровались. Развал проинфляционной коалиции стал неизбежен [Чинилин 1997: 23]. Тем не менее инфляционная лавина нарастала как снежный ком. Свою роль в наступлении катастрофы сыграл внешний фактор на рубеже 1922–1923 гг. Германия предложила план осуществления репараций, основанный на получении кредитов, но Лондонская конференция союзников потребовала немедленно выложить денежки. В ответ на проволочки с выплатами и националистические заявления некоторых влиятельных в германской политике фигур комиссия по репарациям заявила, что фактически имеет место дефолт [Craig 1978: 448]. В январе 1923 г. французские и бельгийские войска, стремясь гарантировать получение платежей, вошли в Рур — крупнейший промышленный регион Германии. В ответ немецкие власти призвали население оккупированных территорий не сотрудничать с захватчиками. Тогда Франция прибегла к захвату банковских авуаров и вывозу промышленного оборудования.

В итоге оккупация породила комплекс негативных последствий. Во-первых, у немцев поднялась националистическая волна, вызванная унижением, а также тем, что иностранцы скупали германскую собственность, пользуясь обесцениванием марки. Во-вторых, жители Рура вышли на забастовку, поддержанную правительством, что требовало дополнительного эмиссионного финансирования. Зарплата полностью или на две трети выплачивалась в Руре германскими властями [Rupierer 1979: 105]. В-третьих, дестабилизация положения в основном промышленном регионе страны нанесла удар по экономике всей Германии. Промышленное производство составило в 1923 г. менее половины от довоенного уровня. 94 % заводов работало с пониженной нагрузкой или

вообще оказалось закрыто [Сказкин 1970: 191]. Менее трети немецких рабочих было занято на производстве в течение полного дня [Craig 1978: 454]. Снизилось поступление налогов, зато рейнская область стала использоваться как дыра на границе, через которую идет беспошлинный ввоз товаров [Погорлецкий 2001: 71]. В-четвертых, несмотря на оккупацию, Германия не отказывалась от платежей англичанам и итальянцам [Craig 1978: 449]. Такой подход политически был выгоден, поскольку раскалывал союзников, но экономически означал сохранение тяжелого бремени выплат, возложенного на германский бюджет.

В 1923 г. монетарная и финансовая системы Германии фактически перестали существовать. Темпы роста цен из-за инфляционных ожиданий значительно превзошли даже темпы денежной эмиссии. Население страны старалось больше не иметь дела с марками. Широкое распространение стала получать иностранная валюта. Некоторые компании (например, железные дороги) стали выпускать собственные деньги, обеспечиваемые долларами, золотом или просто зерном. Государство допускало подобную эмиссию, выдавая эмитентам специальные лицензии, но многие печатали свои деньги и без разрешения: ведь даже эти ненадежные платежные средства были для населения привлекательнее официальной валюты [План Дауэса 1925: 213; Lewis: 23–27]. Прибегали к эмиссии и отдельные германские земли. В итоге совокупный объем частных и провинциальных денег превысил, по имеющимся оценкам, объем официальных платежных средств [Bresciani-Turroni 1937: 343–344]. Правительству надо было срочно принимать стабилизационные меры, но оно оказалось на них неспособно из-за зависимости от капитала, получающего компенсации потерь, понесенных в Руре, и населения, требовавшего социальной поддержки. Если же все-таки правительство выступало с какой-то инициативой, она торпедировалась парламентами.

Президент Рейхсбанка Рудольф Хавенштайн пытался валютными интервенциями поддерживать курс марки, полагая, будто сможет таким образом бороться с инфляционными ожиданиями, но лишь тратил пустую международные резервы и содействовал тем самым спекулянтам, в том числе выступавшим с патриотическими лозунгами. В частности, апрельскому (1923 г.) падению марки предшествовала крупная покупка валюты, осуществленная Гуго Стиннесом [Rupieper 1979: 108, 111]. Беспомощность властей в конце концов вылилась в попытку организации патриотических валютных займов, примерно как во времена французской революции, с той лишь разницей, что в Германии они не могли

быть подкреплены репрессиями. А голого патриотизма не хватало для решения проблемы [там же: 200].

Макроэкономическая ситуация была ужасной, но не лучше была и ситуация политэкономическая. Как немцы, так и союзники хотели нормализации, однако ни одна из сторон не желала идти навстречу другой. Немцы полагали, что все беды — от несправедливых репараций, а союзники делали упор на то, что разумное ведение хозяйства способно обеспечить любые выплаты. Остановить инфляцию удалось лишь на рубеже 1923–1924 гг. с помощью комплекса разных мер. Все началось с формирования в августе 1923 г. правительства Густава Штреземана — сильного политика, лидера народной (бывшей национал-либеральной) партии. «Если можно определить, что такое сильная личность, — говорил новый канцлер, — так это тот, кто способен управлять как парламентскими мерами, так и силовыми» [Daniels 1927: 218]. Штреземан стремился к подавлению всяких путчей как справа, так и слева. 26 сентября было введено чрезвычайное положение, 21 октября ликвидированы рабочие правительства в Саксонии и Тюрингии. Через два дня подавили восстание Эрнста Тельмана в Гамбурге. 8 октября бесславно закончился гитлеровский пивной путч в Мюнхене. Власть доказала, что управляет страной.

Не менее важно было и то, что президент страны социалист Фридрих Эберт заявил о прекращении политики сопротивления в оккупационной зоне. Штреземан подготовил это заявление, заранее заручившись поддержкой всех политических партий, кроме коммунистов и нацистов. В условиях националистического угара, вызванного оккупацией, добиться такого результата было очень трудно [Фарбман 1995: 175].

Но главным достижением, конечно, стала новая финансовая политика. Был отправлен в отставку с поста министра финансов Рудольф Гильфердинг — известный теоретик германской социал-демократии, но, как выяснилось, не очень сильный практик. Ему пришлось поплатиться карьерой за то, что социал-демократы не желали отступить от завоеваний революции в плане продолжительности рабочего дня и масштабов системы социального страхования [Daniels 1927: 238]. Гильфердинга сменил Ганс Лютер (бывший мэр Эссена, а затем министр сельского хозяйства и продовольствия), не реагировавший на давление со стороны финансовых кругов (привыкших наживаться на инфляции) и партий. Хотя вопрос о репарациях не был решен, бюджет испытывал колоссальный дефицит, а экономика находилась на спаде, Лютер взялся за финансовую стабилизацию, признавая, что начинает строить здание

с крыши, а не с фундамента [Bresciani-Turroni 1937: 335–336]. Он отменил расходы на поддержку Рейнской области, съедавшую основную массу денег, а налоги стал рассчитывать в золотых марках и взимать по курсу этой валюты к бумажным деньгам на день уплаты [Aldcroft 1977: 140]. Бремя репараций переложили на промышленность, которая должна была осуществлять в счет германского долга поставки угля за рубеж. Многочисленные госслужащие подверглись решительному сокращению. Железные дороги стали покрывать свои расходы доходами от перевозки грузов и пассажиров. Наконец, немаловажно для финансовой стабилизации было и то, что военный долг за время гиперинфляции совершенно обесценился, а потому бремя его обслуживания оказалось почти полностью снято с госбюджета [Bresciani-Turroni 1937: 355–356]. Именно соблюдение строгой бюджетной дисциплины и сворачивание кредитования экономики стало непосредственной причиной стабилизации [Фергюсон 2012: 258].

Вскоре после назначения Лютера и в связи со смертью Хавенштайна во главе Центрального банка (получившего название Рентный банк) стал банкир Ялмар Шахт [подробнее о нем см. Травин, Маргания 2011: 335–348]. Финансовые круги имели своего кандидата на этот пост — человека значительно более покладистого, — но им пришлось смириться с назначением [Craig 1978: 467]. Впоследствии, когда Шахт уже стал знаменитым, Гитлер говорил, что он — единственный ариец, способный перехитрить евреев в такой сложной области, как финансы [Peterson 1954: 130], но в 1923 г. он был еще скромным банкиром и прославился лишь спором с Карлом Гельферихом, главным экономическим советником германского правительства, предшествовавшего кабинету Штреземана. В этом споре «старый либерал» Шахт утверждал, что финансовая стабилизация возможна лишь на основе займов, позволяющих вернуться к системе золотого стандарта (именно так были в эту эпоху стабилизированы финансы Австрии, Венгрии и Польши). Гельферих же отстаивал «еретический» вариант, основанный на выпуске... рентной марки, золотом не обеспеченной. Той самой рентной марки, благодаря которой вскоре прославился не он, а Шахт. В теоретическом споре, можем сказать мы сегодня, прав оказался Гельферих, но в бюрократическом победил тогда Шахт, имевший репутацию не националиста, как его оппонент, а умеренного демократа. Штреземану нужен был именно такой человек, и Шахт возглавил Центробанк. Этот человек не был догматиком. Сумев оценить сложность ситуации и поняв, что ортодоксальный план невозможен из-за отсутствия кредитов, главный банкир взял на вооружение

идеи своего оппонента, хотя они и казались оторванными от практики [там же: 27–55]. Шахт считал именно объем денежной массы основной причиной инфляции, но в то же время он полагал, что «монетарная политика — это не наука, а искусство» [там же: 56]. И хотя с этим искусством многие чересчур творческие деятели заигрывались до инфляции, Шахт решился на свой эксперимент, выпустив в ноябре 1923 г. рентную марку — новую официальную валюту Германии. Поначалу вообще собирались изъять из обращения старую обесценившуюся бумажную марку, обменивая ее по твердому курсу на рентную, но потом решили сохранить в обороте две параллельно функционировавшие валюты, которые могли обмениваться друг на друга по рыночному курсу. Старая марка продолжала считаться официальной денежной единицей, тогда как для новой было придумано глубокомысленное название «официальное средство платежа» [Bresciani-Turroni 1937: 337]. Доверие к рентной марке обеспечивалось землей и недвижимостью — реальными государственными ценностями. Разумная финансовая политика правительства повышала степень доверия. Размер эмиссии рентной марки был жестко ограничен размером прироста валового продукта, и вскоре она стала стабильной. В долгосрочном плане стабильность поддерживалась изменением политики иностранных государств в отношении Германии. Стало вызревать понимание того, что немцы не способны в кратчайшие сроки выплатить репарации в таком объеме, который полностью покрыл бы убытки от минувшей войны. В результате появился план Дауэса (по имени американца Чарльза Дауэса), предполагавший осуществление сравнительно реалистичных платежей и реструктуризацию долга на длительный срок. Благодаря этому плану и финансовой стабилизации появилась уверенность в том, что экономика сможет нормально функционировать¹¹. Для

¹¹ В научной литературе тех давних лет, когда чрезвычайно популярным было кейнсианство, высказывалось предположение, будто германская хозяйственная система могла бы нормально развиваться в условиях инфляции, если бы денежные власти, с одной стороны, накачивали экономику деньгами для поддержания полной занятости, но с другой — удерживали бы ее от перехода в гиперинфляцию [Pedersen, Laurssen 1964: 85–88, 124]. С подобной позицией вряд ли можно согласиться, поскольку ее сторонники не учитывают природу неконтролируемого развития инфляции в условиях слабого постреволюционного государства. Инфляция выходит из-под контроля отнюдь не случайно. Но сугубо экономический взгляд на проблему путает авторов. Они сильно переоценивают возможность тонкой настройки грубых макроэкономических процессов. Возможно, им представляется, что любое государство способно работать по приказу больших начальников, которые, в свою оче-

контроля за ходом восстановления прибыл американский эмиссар Патрик Гилберт. А за ним в Германию пошли крупные иностранные инвестиции. Денежное обращение полностью стабилизировалось, и в 1924 г. новая рейхсмарка стала размениваться на золото. Несмотря на то что правительство Штреземана, взявшее на себя риск проведения жестких мер, пало в том же году, поворота к дестабилизации уже не случилось. Экономика пошла на подъем. У изголодавшегося по нормальной жизни населения рос спрос на потребительские товары, и предприятия активно его удовлетворяли. В дальнейшем стали быстро развиваться немецкая химическая промышленность, машиностроение и добыча бурого угля [Abraham 1981: 144]. Роль сферы услуг росла, а сельского хозяйства снижалась [Schoenbaum 1967: 3].

Формально революционный кризис экономики и государства был преодолен к середине 1920-х гг. Но реально скрытые последствия революции сохранялись. Страх перед хозяйственным развалом, недееспособностью правительства и возможностью гиперинфляции быстро проявился вновь с началом Великой депрессии. Приход к власти Адольфа Гитлера и установление тоталитарного нацистского режима не были случайностью, хотя, казалось бы, эта деградация Германии (провал в архаику, как иногда принято говорить) вступала в противоречие с многовековой немецкой культурой. Культура — культурой, но зависимость от исторического пути, от трагедии, случившейся со страной под воздействием мировой войны и революции, во многом определила ход событий в ближайший после кризиса начала 1920-х гг. период.

редь, внимательно слушают умных экспертов. Но на самом деле государство функционирует в условиях борьбы различных конфликтующих групп, а государство, разрушенное революцией, целиком оказывается у них в зависимости. Денежная накачка экономики порождает не экономический рост, а безудержные спекуляции, связанные с инфляционными ожиданиями. Этот гордиев узел почти невозможно развязать. И, лишь разрубив его с помощью жестких стабилизационных мер, можно вернуть экономике жизнь. Думается, современники германской гиперинфляции четко видели, что происходит на самом деле, поэтому не использовали сложных методов государственного регулирования, которые легко рекомендовать, лишь находясь в тиши кабинета.

На развалинах империи Габсбургов

Распад Австро-Венгрии и формирование новых молодых государств фактически можно считать революцией в плане последствий, которые эта «геополитическая катастрофа» несла для народов империи. Старой власти уже не было, а новая толком не могла возникнуть и взять правление в свои руки, поэтому в Австрии и Венгрии (но не в Чехословакии) возник экономический хаос, чреватый серьезными социальными последствиями. В Венгрии даже появилась советская республика, тогда как в Австрии после распада правили социал-демократы.

Как ни парадоксально, но в экономическом плане наименее приспособленной для независимого существования оказалась Австрия, несмотря на сравнительно высокий уровень культуры населения. Она в наибольшей степени стала жертвой структурных проблем, возникших из-за распада единой хозяйственной системы. Территория Австрии оказалась отрезана от важнейших источников природных ресурсов. Соседи относились к бывшему «сердцу империи» враждебно. Чтобы получить один поезд с углем, требовалось провести пять дипломатических встреч [Gulick 1948: 93]. Но даже не это было самым страшным. С трудовыми ресурсами дело обстояло хуже, чем с природными. В империи Австрия специализировалась не столько на каком-либо виде производства, сколько на бюрократическом управлении огромной державой Габсбургов. Соответственно, там было непропорционально много чиновников. Бремя содержания бюрократии, управлявшей тридцатимиллионной империей, легло теперь на страну с населением 6,5 млн. В ней лишь 3 млн трудилось в производстве. Остальные были чиновниками, стариками или детьми [Турок 1955: 157–158].

Особенно трудно было снабжать продовольствием австрийскую столицу. «Очень мало общих черт и очень много антагонистических противоречий было между западными землями — сельскохозяйственными, традиционалистскими, ортодоксально католическими, управляемыми сильными местными администрациями — и Веной, имперским городом с двухмиллионным населением, крупным финансовым, промышленным и культурным центром, вычурным, космополитичным, населенным проникнутыми социалистической идеологией рабочими, а также богатыми и бедными евреями» [Barker 1973: 11]. К востоку и югу от Вены дела обстояли не лучше. «Даже те районы, которые были видны невооруженным глазом с башни собора Святого Стефана, отказывались разделить имеющееся у них продовольствие с голодающими жителями столицы

[Gulick 1948: 88]. При этом численность населения столицы увеличилась из-за притока австрийцев, занимавших различные должности в дальних углах империи, и этот приток не компенсировался оттоком чехов, поляков и венгров, стремившихся воссоединиться со своими народами [Pasvolsky 1928: 96].

Голодные люди рыскали по стране в поисках еды. Зародилось мешочничество. Но для поездок по собственной же стране теперь требовались специальные разрешения. «Во время путешествий карманы тщательно обыскивали, но не ради кошелька или бриллиантов, а ради картошки и муки. Один человек вспоминал, как он четырнадцать часов сидел на железнодорожной станции в Граце, ожидая разрешения на право войти в город» [Macartney 1926: 96]. Кордоны, правда, далеко не всегда помогали удержать продовольствие от вывоза в столицу. Нищих австрийских чиновников, спешно брошенных местными властями на работу в новоявленные таможи, нетрудно было подкупить. Если же добром сторговаться не удавалось, спекулянты, неплохо вооруженные и имевшие опыт мировой войны, прорывались с боем в богатые хлебом регионы. На границах отдельных австрийских земель часто возникали кровавые стычки [Цвейг 1966: 667].

В этой ситуации австрийская политическая элита проявила полную беспомощность, совершенно растерявшись под бременем свалившихся на нее проблем. Политики всех мастей пришли к выводу о невозможности автономного существования своей страны. Априори считалось, что структурные проблемы австрийской экономики абсолютно неразрешимы. Единственным возможным вариантом выживания виделось вхождение Австрии в состав Германии. В сторону Берлина тянули австрийцев немецкие национальные чувства. К объединенной Германии подталкивало и желание иметь большой рынок сбыта для небольшого числа производившихся в Австрии товаров. Наконец, всерьез повлияло на данную проблему доминирование в политической элите Австрии социал-демократии, которая по-марксистски стремилась к пролетарскому интернационализму [Barker 1973: 18]. Вопрос аншлюса был впервые поставлен именно социал-демократами, а не национал-социалистами. В резолюции съезда социал-демократов еще 1 ноября 1918 г. (до окончания войны) говорилось: «...немецкая Австрия, предоставленная самой себе, не является экономически жизнеспособным образованием» [Райсберг 1975: 114]. При этом на региональном уровне возникали иные варианты решения проблемы. Богатые западные провинции, не желавшие разделять трудности деградировавшей столицы, готовы были

хоть по одиночке присоединяться к Германии или даже к Швейцарии [Rothschild 1947: 19–21].

Однако на практике добиться национального единства было невозможно. Победившие в мировой войне союзники (в первую очередь Франция) желали максимально ослабить немцев и блокировали всякий вариант слияния. В такой ситуации ключевой проблемой первых лет существования Австрийской Республики стала несбалансированность бюджета. Налогов не хватало для покрытия расходов. Социальное бремя, взятое на себя правительством, оказалось непосильным. Но социал-демократы считали поддержание бедствующих людей делом необходимым с точки зрения партийной позиции. Не слишком отличались от них и христианские социалисты. Более того, все опасались прихода к власти коммунистов, которые обосновались уже у руля в соседней Венгрии. Да и красная Бавария серьезно пугала. В такой ситуации любые стабилизационные действия, наносившие удар по уровню жизни трудящихся, вызывали страх. Проще всего было вообще ничего не делать. Настроение, овладевшее австрийской политической элитой, хорошо иллюстрируют слова одного полицейского комиссара: «Если я завтра закрою венские кафе, то уже на следующий день у нас будет революция» [Johnston 1972: 74].

Правительство не контролировало финансы. Годовой бюджет могли истратить в течение месяца, а затем жить за счет экстраординарных кредитов: печатали банкноты, поставляемые эмиссионным банком. Даже о том, сколько денег истрачено, правительство узнавало лишь на следующий месяц, получив отчеты министерств. Налоги собирали с большим трудом. В 1922 г. министр финансов получал деньги отплательщиков за 1920 г. и даже не приступал к оценке за 1921 г. [там же: 74]. В условиях инфляции платежи, естественно, быстро обесценивались. Методы борьбы с ростом цен были анекдотичными. Например, жестко фиксировался размер платежей квартиросъемщиков. Это означало, что они жили фактически бесплатно, поскольку деньги быстро обесценивались. Год проживания стоил меньше, чем один обед [Цвейг 1996: 668]. В таком регулировании была заинтересована многочисленная, но плохо оплачиваемая бюрократия, пытавшаяся выживать, как могла. В известной мере власть оказалась заложницей своей бюрократии. Неспособность к серьезным решениям оказалась даже большей проблемой, чем наследие войны.

В отличие от Германии Австрия не страдала от бремени репараций. Сен-Жерменский мирный договор обязал Вену к уплате, но конкретную

сумму победители долго не могли определить. Тем не менее собственная социальная политика обрекла австрийцев на такую же судьбу, на какую немцев обрекли западные страны. У каждой высокой инфляции в мировой истории были свои объективные причины. Если Франция в эпоху революции страдала от последствий большого госдолга, а Веймарская Германия — от наследия войны, то Австрия расплачивалась за имперское прошлое — точнее, за перемены, которые определялись распадом державы.

Инфляция породила бегство от кроны. Крестьяне переходили на бартер. Горожане стремились приобрести иностранную валюту. «Даже школьники имели несколько швейцарских франков, американских долларов или чехословацких крон, добытых тем или иным путем» [Rothschild 1947: 26]. Широкое распространение получил черный рынок. Иностранцы скупали там все, что могли. В частности, вывозили художественные ценности. Но и те, кто был небогат, пользовались австрийской инфляцией. В зальцбургском отеле «Европа» долго жили британские безработные: пособия вполне хватало им на безбедное существование в Австрии. А баварские бюргеры толпами валили через австрийскую границу, накачивались дешевым пивом и возвращались домой. Бесчувственные тела некоторых наиболее активных «пивных туристов» доставляли к поезду на багажных тележках. Интересно, что через год-другой, когда в Австрии остановили инфляцию, а в Германии она, наоборот, усилилась, направление «пивного туризма» изменилось. Теперь уже ездили из Зальцбурга в Баварию, чтобы выпить по дешевке [Цвейг 1996: 669–671].

Впрочем, нет худа без добра. Инфляция предотвратила широкомасштабную национализацию, которой требовали левые активисты. Ведь как справедливо заметил политик Карл Реннер, «нельзя социализировать долги» [Gulick 1948: 134–135]. Обнищавшее государство не могло взвалить на себя еще одно большое бремя, поэтому социализация затронула лишь узкий круг предприятий. Промышленности требовались частные инвестиции, а не государственный контроль.

Первую попытку провести финансовую стабилизацию предпринял в 1919 г. Йозеф Шумпетер — один из крупнейших ученых-экономистов XX века, занимавший полгода пост министра финансов. Он пытался продавать иностранцам акции предприятий, привлекать зарубежные кредиты, повышать налоги, но не преуспел в этом деле. После его отставки ситуация продолжала ухудшаться. Если с 1914 по 1919 г. цены возросли в 28 раз, то к сентябрю 1922 г. — уже в 14 153 раза [Rothschild 1947: 25]. На этом фоне страна вошла в острый кризис, выход из которого

был найден уже иными политическими силами, нежели те, что приняли страну сразу после распада империи.

В мае 1922 г. в Австрии появилось новое правительство во главе с 46-летним христианским социалистом Игнацем Зайпелем, которому удалось качественно изменить ход дел за счет международной поддержки. Христианские социалисты из всех политических сил страны были в наименьшей степени связаны как со старой империей, так и с мечтами о будущей единой социалистической Германии [Bluhm 1973: 16–21]. Это были националисты-прагматики. Аншлюс их не привлекал, хотя поначалу христианские социалисты не знали, что делать с неожиданно возникшим австрийским государством. Зайпель, бесспорно, был необычным политическим деятелем. Католический священник, профессор моральной теологии, иезуит, опытный оратор, умевший оказывать влияние на паству, он в своей политике откровенно использовал то, что принято порой называть иезуитскими методами. Современники отмечали, что «за его орлиным профилем временами проглядывал хитрый лис, а в его “ангельской” политике всегда находил себе место Мефистофель» [Barker 1973: 56]. Во время своих визитов в соседние страны — Германию, Италию, Чехословакию — Зайпель спекулировал на австрийских «неразрешимых» проблемах, намекая то на возможность аншлюса, то на уход Австрии под протекторат Италии, то на сближение с Чехословакией и Югославией. Каждому из соседей не нравился вариант возможного усиления другого соседа, поскольку это нарушало сложившееся политическое равновесие в Центральной Европе, а потому в международной среде росло стремление поддержать независимость Австрии, выведя ее из экономического кризиса. В конечном счете в австрийские дела вмешалась Лига Наций. Страна получила международный кредит, обеспеченный Англией, Францией, Италией и Чехословакией под условие наведения порядка в финансовых делах. Политическим условием сделки стало замораживание на двадцать лет вопроса об аншлюсе [Jelavich 1989: 175]. В Вену прибыл бургомистр Амстердама, взявший на себя функции спецкомиссара по наблюдению за экономическим восстановлением. Парламент должен был передать правительству полномочия, необходимые для осуществления стабилизации. А оно ежемесячно предоставляло комиссару проект бюджета. Как и опасались левые, страна оказалась на время под контролем «мировой буржуазии», но это и спасло Австрию. Как только были достигнуты договоренности с Лигой Наций, паника на рынках прекратилась и темп роста цен резко снизился. Появился новый эмиссионный банк,

проводивший разумную монетарную политику [Pasvolsky 1928: 116–117]. В ноябре 1923 г. бюджет страны впервые свели с профицитом благодаря значительному сокращению расходов и улучшению сбора налогов [Rothschild 1947: 34; Dornbusch 1994: 21]. Через несколько лет крона стала одной из самых стабильных валют в Европе, и ее даже прозвали альпийским долларом.

В Венгрии дела сложились хуже, чем в Австрии, поскольку там революция привела к формированию советской республики. Расходы советского правительства в десять с лишним раз превышали доходы, как, впрочем, и у существовавшего перед ним правительства буржуазного [Pasvolsky 1928: 298]. В результате возникла инфляция, которая не была наследницей военного периода. С 1914 по 1917 г. цены в Венгрии выросли в пять-семь раз, но в условиях мирного времени темпы денежной эмиссии существенно ускорились и это сказалось на инфляции. Власти советской республики использовали даже фотомеханический способ для подделывания австрийских банкнот [Dornbusch 1994: 22]. Работа печатного станка принимала курьезные формы. Некоторые банкноты делали на белой бумаге вместо традиционной синей, поскольку той не хватало. Крестьяне считали «белые деньги» неполноценными и отказывались их принимать. В результате возник курс синих денег к белым [Пушкаш 1972: 111].

Хотя советская власть была устранена уже в августе 1919 г., а новое социал-демократическое правительство тут же провело денационализацию и снижение зарплат, сохранялась катастрофическая политическая нестабильность. Лишь после того, как в феврале 1920 г. адмирал Миклош Хорти был избран регентом страны, в Будапеште появилась твердая власть. В марте Венгрия проштамповала свои банкноты и завершила отделение национальной монетарной системы от систем других стран-наследниц империи. Еще некоторое время ушло на разбор последствий войны, и лишь после заключения Трианонского мирного договора, лишившего Венгрию примерно трети бывших территорий и наложившего на нее бремя больших репараций, появилась возможность заняться будничными делами. В отличие от Австрии, Венгрия обладала теперь твердым правительством. Режим Хорти был даже не столько порождением личной власти адмирала, сколько следствием длительного развития страны при старой монархии. Венгры оставались, пожалуй, единственным народом Габсбургской империи, у которого сохранялся традиционный авторитет национальной земельной аристократии. Связано это было с длительной борьбой против австрийской гегемонии,

в которой именно аристократия вела народ за собой. Общность целей в национально-освободительном движении на фоне слабого развития промышленности гасила остроту социальных конфликтов и обеспечивала относительное единство нации. Немаловажную роль сыграла высокая концентрация земельной собственности. 324 крупных семейства владели почти пятой частью всех аграрных угодий страны, что представляло собой уникальный для Европы XX века случай [Jászai 1929: 223]. Единство нации укреплялось также влиятельной в условиях высокой религиозности народа католической Церковью и моноэтничностью, фактически сложившейся после того, как по Трианонскому договору от Венгрии были отрезаны земли в пользу соседних государств (остались лишь немцы и евреи).

Велика была и роль личности. Регент Миклош Хорти для укрепления режима взял курс на национализм с известной долей антисемитизма, а во главе правительства поставил графа Иштвана Бетлена, происходившего из старой семьи трансильванских протестантов, где удачно сочетались консервативные традиции с либеральными реформаторскими взглядами [подробнее см. Травин, Маргания 2011: 363–376]. Этот политико-экономический тандем в основном и обеспечил стабилизацию после революционного развала. Бетлен, устраивавший как аристократию, так и буржуазию, сформировал систему власти, основывавшуюся не столько на силе, сколько на авторитете и политическом маневрировании [Pölöskei 1980: 39–40, 99, 125].

Первая половина 1920-х гг. оставалась для Венгрии сложным периодом. Страна стала входить в гиперинфляцию, пытаясь денежной эмиссией смягчить свои острые проблемы. Основной причиной финансовой нестабильности стало даже не бремя наложенных на Венгрию репараций, а неспособность жить по средствам. Более четверти бюджета уходило на дотации госслужащим и на поддержку железных дорог. Рост цен вышел из-под контроля, и более трети расходов покрывалось печатным станком [Pasvolsky 1928: 299–301]. Курс бумажной кроны стал быстро снижаться. В 1922–1924 гг. она обесценилась в сто раз [Пушкаш 1972: 193]. Темпы обесценивания усиливались инфляционными ожиданиями. Перелом наступил лишь после того, как была достигнута договоренность с Лигой Наций о предоставлении крупного кредита, гарантированного рядом западных стран [Нэмэни 1929: 31–32], а репарационная комиссия отложила арест имущества, грозившего Венгрии из-за неспособности платить [Dornbusch 1994: 24]. Правда, в будущем страна должна была расплатиться по своим довоенным долгам [Berend, Ranki 1960: 57].

После достижения всех этих договоренностей в Будапешт прибыл американский специалист по финансам для контроля за стабилизацией. Правительство получило от парламента полномочия на сокращение расходов и повышение налогов. Крону жестко привязали к фунту. А в 1927 г. крону, потерявшую репутацию, заменила новая валюта — пенге. Бегство от национальной валюты прекратилось. Вырос размер банковских депозитов. Снизилась ставка по кредитам [Pasvolsky 1928: 355–356]. Таким образом, в контроле над инфляцией буржуазное правительство оказалось ненамного сильнее советского, поскольку отдавало дань популизму, но зато оно смогло получить иностранную поддержку и с ее помощью навести порядок в венгерских финансах. Более того, благодаря сильному политическому режиму и слабым профсоюзам налоговая нагрузка в послевоенной Венгрии оказалась меньше, чем в довоенной, что при низкой зарплате и твердой валюте подняло конкурентоспособность страны и обеспечило экономический рост. К 1927 г. был восстановлен довоенный уровень промышленного производства [Berend, Ranki 1960: 63; Пушкаш 1972: 214].

В Польше, казалось бы, должны были возникнуть наиболее серьезные финансовые проблемы в связи со слабостью государства, которого вообще не существовало больше столетия из-за раздела между Россией, Австрией и Пруссией. Но стартовые условия для воссозданного государства формально были неплохими: Польша не страдала ни от бремени репараций, как Германия, ни от структурных перекосов экономики, как Австрия, ни от советской власти, как Венгрия. Тем не менее война с Советской Россией быстро ввела Польшу в кризисное состояние. С одной стороны, эта война была объективно предопределена стремлением большевиков прорваться в Германию для осуществления мировой революции, но с другой — польские власти стремились превратить свою страну в маленькую империю, включающую Литву, Украину, Белоруссию. Глава правительства Игнатий Падеревский даже послал американскому президенту Вудро Вильсону меморандум о необходимости формирования Соединенных Штатов Польши [Berend 1998: 148].

В момент воссоздания польского государства на его территории функционировали немецкая марка (на западе), русский рубль (на востоке), австрийская крона (на юге), а также временные военные деньги [Wellisz 1938: 41]. Попытка учреждения национальной валюты сразу уперлась в финансовые трудности. Долларовый фонд, собранный для стабилизации польской марки в 1919 г., весной следующего года ушел на войну с большевиками. Экономика строилась в это время по

мобилизационному типу: субсидирование предприятий, контроль за ценами, валютными операциями и распределением товаров, лицензирование импорта и экспорта [Barber 1923: 34, 59]. Лишь после заключения мира начались реальные попытки осуществить финансовую стабилизацию, осложнявшиеся отсутствием опытного бюрократического аппарата в этой «молодой» стране. В 1921 г. министр финансов профессор Михальский разработал программу радикального сокращения расходов и увеличения налогов [Dybosky 1933: 105]. Но успех стабилизации оказался кратковременным. Летом 1923 г. польская марка рухнула вслед за германской, поскольку Польша с Германией были сильно связаны экономически [Barber 1923: 34]. Более того, польский внешнеторговый баланс пострадал от падения мировых цен на традиционные экспортные товары и от разрыва связей с Советской Россией. Началась массированная денежная эмиссия. Ускорился рост цен. Лишь формирование внепарламентского правительства во главе с Владиславом Грабским (одновременно являвшимся и министром финансов) в конце 1923 г. позволило осуществить финансовую стабилизацию. Сейм осознал необходимость жестких мер и передал правительству соответствующие полномочия. Военные расходы сократили, улучшили сбор налогов, бюджет 1924 г. свели без дефицита, прекратили хаотичную денежную эмиссию и сформировали независимый от правительства центральный банк [Dybosky 1933: 103–108, 269]. Кабинет Грабского продержался примерно два года, но успел ввести новую национальную валюту — злотый, жестко привязанный к доллару и равный по номиналу (видимо, для солидности) швейцарскому франку [Gorecki 1935: 44].

Впрочем, польская стабилизация оказалась не столь удачной, как у соседей. Не было поддержки Лиги Наций (Грабский отверг ее, так как не хотел ставить свою только что возродившуюся страну под контроль иностранных эмиссаров) и международного капитала, а политические партии вскоре стали давить на правительство, требуя увеличения расходов. Поэтому инфляция вновь усилилась, а злотый обесценился. К 1926 г. нестабильность была столь велика, что Польша захотела режима твердой руки [Dybosky 1933: 113–114]. Юзеф Пилсудский осуществил переворот, поддержанный трудящимися, устроившими всеобщую стачку. С середины 1926 г. начал функционировать так называемый режим санации. Пилсудский, отказавшийся от поста президента, но контролировавший армию, стал де-факто авторитарным лидером (на первых порах и премьером). Бюджет привели в порядок, партийный популизм перестал влиять на правительственные решения, Лигу Наций

пригласили к сотрудничеству и получили американский кредит [Aldcroft 1977: 141]. Группа зарубежных экспертов прибыла для контроля за ходом финансовой стабилизации [Verend 1998: 157]. Злотый укрепился, чему способствовал, в частности, большой спрос на польский уголь в Великобритании, где забастовали вдруг шахтеры. Вплоть до 1933 г. польская национальная валюта свободно разменивалась на золото. Страна злого стала твердым приверженцем золотого стандарта.

Голодная катастрофа Советской России

В Советской России после революции переход к гиперинфляции определялся двумя ключевыми обстоятельствами. С одной стороны, как во всех рассмотренных выше случаях, быстрое увеличение объема денежной массы представляло собой своеобразный инфляционный налог. Поскольку расходы государства существенно превышали доходы, а по сути дела, у советской власти вообще не было возможности собирать налоги в условиях полного развала государственного аппарата и деградации производственной сферы, деньги печатались в той мере, в какой требовалось затыкать бюджетные дыры. С другой стороны, правители, руководствовавшиеся своеобразно воспринятым марксизмом, предполагали, что деньги при социализме вообще исчезнут, а организовывать нормальный ход производства и распределения продукции по окончании Гражданской войны можно будет на натуральной основе. «Многие советские публикации 1918–1920 гг. содержат попытку доказать, что деньги обречены на исчезновение» [Пайпс 2005б: 453]. Таким образом, к деньгам относились примерно как к недорезанным буржуям: их свойства можно временно использовать в интересах пролетарского государства, но впоследствии они подвергнутся окончательному уничтожению. При этом в Советской России не существовало таких причин возникновения гиперинфляции, как необходимость обслуживания дореволюционного государственного долга и необходимость выплаты репараций по итогам Первой мировой. В отличие от французских революционеров конца XVIII века большевики отказались расплачиваться с буржуазией, а в отличие от германских политиков Веймарской республики они не имели на себе бремени обязательств за проигранную войну.

Р. Пайпс возложил ответственность за развал российской экономики на левых коммунистов и особенно на Юрия Ларина, о котором он с грустной иронией писал, что «этот полупарализованный, страдавший

страшными болями инвалид, мало известный даже специалистам, может по праву считаться автором уникального в истории достижения: вряд ли кому-нибудь еще удавалось за невероятно короткий срок — в тридцать месяцев — пустить под откос экономику великой державы» [там же: 464]. Но, думается, все же это, скорее, публицистическое преувеличение, чем научный вывод. Революционный развал государства, как мы видели, быстро пускал под откос экономики ряда стран, и объективные причины такого рода катастроф были не менее важны, чем субъективные. Марксистские идеи доминировали лишь в России, а гиперинфляция с администрированием доводили до кризисного состояния в разные времена разные народы.

Объем денежной массы с момента Октябрьского переворота 1917 г. до середины 1921 г. увеличился, по оценке Леонида Юровского, примерно в сто раз. Но цены росли значительно быстрее: за тот же период они увеличились в восемь тысяч раз [Юровский 2008: 84–89]. Связано это было с общим развалом производства, сокращением товарооборота и инфляционными ожиданиями. «Счастливые обладатели» пока еще не уничтоженных советской властью денег имели слишком малые возможности для покупки товаров и слишком большие желания как можно быстрее превратить обесценивающиеся бумажки во что-то полезное. В 1921 г., когда Ленину стало ясно, что безденежное хозяйство является утопией и может погубить революцию, большевики приняли решение о возвращении к твердой валюте, способной в течение длительного времени обслуживать товарооборот.

Второй проблемой революционной экономики стала продрозверстка. Для регулирования сельского хозяйства сначала вводились твердые цены на крестьянскую продукцию. К осени 1918 г. они охватывали уже все виды аграрного производства. Если крестьянин вдруг отказывался сдавать товар по государственным тарифам, происходила принудительная реквизиция, причем для наказания мужика цена снижалась на четверть. Но поскольку даже такие меры не обеспечивали успеха продрозверстки, большевики ввели монополию, в соответствии с которой крестьянину оставлялся лишь минимум продукции для личных нужд и посева. Изъятые товары государство оплачивало быстро обесценивавшимися бумажными деньгами. Таким образом, фактически получалось так, что оно забирало крестьянскую продукцию бесплатно. К 1920 г. монополия охватывала практически все аграрное хозяйство России. Изъятие продуктов осуществляли специальные продовольственные отряды, состоящие из «надежных рабочих и испытанных товарищей» во главе

с комиссаром. На время «командировки» труженики штыка сохраняли свое место на фабрике и зарплату. Кроме рабочих, изъятием занимались красноармейцы и милиционеры, т. е. практически все едоки, которые были лично заинтересованы в сельхозпродукции. Для того чтобы лишить крестьянина соблазна скрыть зерно и затем продать его в городе на рынке, частная торговля по возможности пресекалась, а мешочников репрессировали. Понятно, что на деле размер изъятого у крестьян продовольствия зависел не от планов продразверстки, а от реальной потребности рабочих и армейских коллективов в еде, от способности села скрыть часть урожая, от стремления «испытанных товарищей» к личной выгоде — т. е. в целом от того, как складывались на местах конкретные отношения продотрядов с мужиками. При необходимости город мог забрать столько зерна, что ни на еду, ни на посевы уже не оставалось. Подобная политика со всеми ее эксцессами представляла собой не ошибку в деле строительства социализма, не извращение верной теории, а единственный способ выживания режима в условиях разрушения государства, вызванного революцией [Литошенко 2001: 261–280].

Снабжение потребителей различалось по различным районам страны в зависимости от конкретной ситуации. Планы продразверстки, составленные высоким начальством исходя из революционных амбиций и примерно подсчитанных потребностей едоков, а не из реальных производственных ресурсов крестьян и экспроприаторских возможностей продотрядов, выполнялись порой лишь наполовину. Поэтому где-то вводились карточки на хлеб с жесткими нормами, а где-то ограничения были менее суровыми, причем фактически сохраняющаяся рыночная торговля позволяла горожанам разнообразить свой рацион [Нарский 2001: 103, 275].

Что же касается производителей, то они реагировали на диктат большевиков в точном соответствии с логикой рынка: «Мы пока здесь живем и работаем, но не по-старому, например: сейчас сев, на поле очень мало народа, сеют против прошлогодного половину и менее. <...> Слышны разговоры — для себя хватит» [там же: 280]. Посевная площадь сократилась к 1920 г. до 61 % от размеров мирного времени, поскольку крестьянам не было никакого смысла производить излишек продукции. Большевики в соответствии с так называемым планом Осинского пытались ввести единую систему планирования посевов, но на деле весной 1921 г. посевные площади вновь сократились, поскольку у диктатуры пролетариата не хватало сил для столь всеохватного диктата. В животноводстве итоги продразверстки были столь же плачевными, как

в растениеводстве: поголовье скота резко сократилось [Литошенко 2001: 291–322, 356–366]. При этом мужики, полагавшие, будто для себя им хлеба хватит, оказывались зачастую голодными, поскольку продотряды (желавшие не только выполнить план, но и обеспечить хлебом самих себя) вытряхивали у крестьян даже необходимое [Нарский 2001: 285–288].

Вот справедливое замечание экономиста Бориса Бруцкуса: «Голодная катастрофа была главным образом следствием революции. Два момента социальной революции привели к гибели русское сельское хозяйство: аграрный переворот и продразверстка. Ясно, что в хаосе социальной революции бедные крестьяне не могли использовать землю, которой они овладели. Кроме того, крестьяне были тогда исполнены яростью уравниловки. Они повторяли разделы из года в год и тем самым сделали невозможной упорядоченную обработку почвы. И тогда пришла еще продразверстка. Она не только обессилила крестьянское хозяйство, но и фатально повлияла на психологию крестьян. Они потеряли всякий интерес развивать свое хозяйство сверх того, что нужно для их непосредственных нужд» [Бруцкус 1995: 16].

Помимо хозяйственного развала, большевистскому режиму стал угрожать развал политический из-за бунтов, возникавших в различных частях страны (самым крупным было крестьянское Атоновское восстание на Тамбовщине, а самым опасным, очевидно, восстание моряков в Кронштадте под Петроградом) и приводивших к большим потерям среди красноармейцев, их подавлявших [Пайпс 2005в: 471–488]. В итоге советскому государству, желавшему избежать катастрофы, пришлось кардинально менять аграрную политику: вводить продналог вместо продразверстки для стимулирования крестьянского труда и разрешать частную торговлю.

Таким образом, русская революция не была уникальным явлением, если смотреть на ее краткосрочные последствия. Характер разрушения государства и экономики во всех рассмотренных выше революциях был примерно одинаковым, хотя масштабы нанесенного обществу ущерба, естественно, зависели от продолжительности и глубины кризиса. Разрушительная сила революции проявлялась в стремлении заменить рынок вне рыночным регулированием и решить бюджетные проблемы с помощью денежной эмиссии. Как то, так и другое, в свою очередь, определялось слабостью государства, вынужденного идти на поводу у различных групп населения, пострадавших от перемен и желавших решить свои текущие задачи любым путем: даже за счет подрыва финансовой и политической стабильности.

Установление максимума цен имело, конечно, не столь разрушительный для рынка характер, как продрозверстка, но и то и другое подрывало стремление крестьян производить товары для рынка. Слабому правительству трудно думать о долгосрочных интересах страны, когда приходится изыскивать любые возможности кормить город, неспособный прокормиться самостоятельно за счет обмена своей продукции на продукцию деревни. Точно так же слабому правительству трудно думать о стабильности валюты, когда оно не может собрать налоги и вынуждено использовать для спасения бюджета своеобразный «инфляционный налог».

Последствия русской революции отличались от последствий других революций в долгосрочном плане. Всеохватывающее административное хозяйство создали лишь большевики. Однако эта хозяйственная трансформация стала следствием не революции, непосредственно завершившейся НЭПом, а большевистской идеологии, о значении которой для модернизации следует вести отдельный разговор.

Литература

Акройд П. История Англии. Мятёжный век: от Якова I до Славной революции. М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2021.

Александр Михайлович, Великий князь: Книга воспоминаний. М.: Современник, 1991.

Алексеев М. Государственный кредит. Очерк нарастания государственного долга в Англии и Франции. Харьков: Университетская типография, 1872.

Архипов И. Российская политическая элита в феврале 1917 г.: Психология надежды и отчаяния. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000.

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Богданович А. Три последних самодержца. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1924.

Бруцкус Б. Советское и крестьянское хозяйство // Бруцкус Б. Советская Россия и социализм. СПб.: Звезда, 1995.

Булгаков С. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Буддаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010.

Быков Д. [внесен в реестр иностранных агентов]. Был ли Горький? М.: АСТ; Астрель, 2008.

Витте С. Воспоминания. Т. 2. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960а.

Витте С. Воспоминания. Т. 3. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960б.

Гавриличев В. Якобинцы и принудительные налоги на богатых (весна — осень 1793 г.) // Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология. М.: Наука, 1988.

Гайдар Е. Смуты и институты // Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009.

Герасимов А. На лезвии с террористами. Paris: YMCA-PRESS, 1985.

Гершензон М. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Голдстоун Д. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.: Новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003.

Гурко В. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствовании Николая II в изображении современника. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

Далин С. Инфляции в эпохи социальных революций. М.: Наука, 1983.

Добролюбовский К. Экономическая политика термидорианской реакции. М.; Л.: Государственное изд-во, 1930.

Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.

Зыгарь М. [внесен в реестр иностранных агентов]. Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900–1917. М.: Альпина Паблишер, 2017.

Изгоев А. Об интеллигентной молодежи // Изгоев А. Рожденное в революционной смуте. М.: Дело, 2017а.

Изгоев А. Социализм, культура, большевизм // Изгоев А. Рожденное в революционной смуте. М.: Дело, 2017б.

Как началась революция 1917 года? Очерк, написанный солдатами учебной команды Волынского полка. [Б.и], [б.г.].

Карлейль Т. Французская революция. История. М.: Мысль, 1991.

Керенский А. Россия на историческом повороте: Мемуары. М.: Республика, 1993.

Кирмзе Ш. Империя законности. Юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимперской России. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Кистяковский Б. В защиту права // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Князь Феликс Юсупов. Мемуары. М.: Захаров, 2023.

Ковалевский М. Моя жизнь: Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2005.

Коковцов В. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. Т. 1. Париж: Издание журнала «Иллюстрированная Россия», 1933а.

Коковцов В. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. Т. 2. Париж: Издание журнала «Иллюстрированная Россия», 1933б.

Колоницкий Б. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.

Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Колоницкий Б. «Товарищ Керенский»: Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). М.: Новое литературное обозрение, 2017а.

Колоницкий Б. 1917: Семнадцать очерков по истории российской революции. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017б.

Коцюбинский А., Коцюбинский Д. Григорий Распутин: тайный и явный. Житие опытного странника сквозь призму его личности. Дневник Распутина. СПб.: Лимбус Пресс, 2003.

Кропоткин П. Великая французская революция. 1789–1793 гг. М.: Наука, 1979.

Крыжановский С. Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. СПб.: РНБ, 2009.

Куломзин А. Пережитое. Воспоминания // Государственные деятели России глазами современников: Александр III / сост. И. Барыкина, В. Чернуха. СПб.: Пушкинский фонд, 2019.

Кунов Г. Борьба классов и партий в Великой французской революции. 1789–1794. М.; Пг.: Государственное изд-во, 1923.

Литошенко Л. Социализация земли в России. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

Лукоянов И. У истоков российского парламентаризма. СПб.: Лики России, 2003.

Ляшенко Л. Александр II, или История трех одиночеств. М.: Молодая гвардия, 2003.

Маклаков В. Первая Государственная Дума (воспоминания современника). Париж, 1939.

Маклаков В. Вторая Государственная Дума (воспоминание современника). Париж, 1940.

Маклаков В. Власть и общественность на закате старой России: воспоминания современника. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 2015.

Манфред А. Великая французская революция. М.: Наука, 1983.

Матъез А. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.; Л.: Государственное изд-во, 1928.

Матъез А. Французская революция. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

Мау В. Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

Медведев С. Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2018.

Милюков П. История второй русской революции. Т. 1. Вып. 1: Противоречия революции. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921.

Милюков П. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991.

Миронов Б. Благополучие населения и революция в имперской России: XVIII — начало XX века. М.: Новый хронограф, 2010.

Миронов Б. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

Миронов Б. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015а.

Миронов Б. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015б.

Миронов Б. Российская модернизация и революция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019.

Нарский И. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.

Нэмэни М. Современная Венгрия. М.; Л.: Государственное изд-во, 1929.

Ольденбург С. Царствование императора Николая II. Т. 1. Белград: Общ-во распространения русской национальной и патриотической литературы, 1939.

Ольховский Е., сост. Авангард: воспоминания и документы питерских рабочих 1890-х годов. Л.: Лениздат, 1990.

Пайпс Р. Русская революция. Кн. 1. Агония старого режима. 1905–1917. М.: Захаров, 2005а.

Пайпс Р. Русская революция. Кн. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918. М.: Захаров, 2005б.

Пайпс Р. Русская революция. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918–1924. М.: Захаров, 2005в.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.: Международные отношения, 1991.

Перетц Е. Дневник (1880–1883). М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

Пивоваров Ю. Революция как предчувствие. Государство и общество между надеждой, отчаянием и реальностью // Петроград 1917. Исторический календарь. Лекции / ред. Ю. Кантор. СПб.: Журнал «Звезда», 2018.

План Дауэса. Финансовое восстановление Германии. М., 1925.

Погорлецкий А. Экономика и экономическая политика Германии в XX веке. СПб.: Изд-во В. Михайлова, 2001.

Полунов А. Победоносцев: русский Торквемада. М.: Молодая гвардия, 2017.

Пушкаш А., ред. История Венгрии. Т. 3. М.: Наука, 1972.

Райсберг А. Австрия, февраль 1934: Причины и следствия. М.: Прогресс, 1975.

Ревуненков В. Очерки по истории Великой французской революции. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

Родзянко М. Крушение империи. Л.: Прибой, 1929.

Савин А. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000.

Сергеев Е. Имперский патриотизм и кампания борьбы с «немецким за-сильем» в России 1914–1917 гг. // Культуры патриотизма в период Первой мировой войны / ред. К. Тарасов. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020.

Сказкин С., ред. Германская история в новое и новейшее время. Т. 2. М.: Наука, 1970.

Скочпол Т. Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

Смирнов А. Кризис денежной системы французской революции. Пб.: Право, 1921.

Соловьев К. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М.: Политическая энциклопедия, 2018.

Соловьев К. Союз освобождения: либеральная оппозиция в России начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2021а.

Соловьев К. Правительство и избирательные кампании в Государственную Думу // Российская империя между реформами и революциями, 1906–1916 / ред. А. Миллер, К. Соловьев. М.: Квадрига, 2021б.

Соловьев К. Союз 17 октября. Политический класс России: взлет и падение. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Спиридович А. Записки жандарма. Харьков: Пролетарий, 1930.

Стародубровская И., Мау В. Великие революции от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.

Старцев В. Очерки по истории петроградской красной гвардии и рабочей милиции (март 1917 — апрель 1918 г.). М.; Л.: Наука, 1965.

Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.

Струве П. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Суханов Н. Записки о революции. Т. 1. М.: Политиздат, 1991.

Травин Д. Русская ловушка. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023.

Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2011.

Туган-Барановский М. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М.: Наука, 1997.

Турок В. Очерки истории Австрии. 1918–1929. М.: Изд-во АН СССР, 1955.

Уортман Р. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М.: Новое литературное обозрение, 2004а.

Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М.: ОГИ, 2004б.

Фалькнер С. Бумажные деньги Французской революции (1789 – 1797). М.: Ред.-изд. отдел ВСНХ, 1919.

Фарбман Н. Густав Штреземан: человек и государственный деятель // Новая и новейшая история. 1995. № 5.

Фергюсон А. Когда деньги умирают. Минск: Попурри, 2012.

Франк С. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.

Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004.

Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца // Цвейг С. Собр. соч. Т. 8. М.: Терра, 1996.

Чернов В. Перед бурей. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.

Чинилин П. Инфляция и социальный порядок в Германии в 1918–23 гг. М.: Рукопись, депонированная в ИНИОН РАН, 1997.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. → 1917–1922 гг. М.: Весь мир, 1997.

Шаховской В. «Sic transit gloria mundi». 1893–1917. Париж, 1952.

Шипов Д. Воспоминания и думы о пережитом. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1918.

Шляпников А. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. Т. 2. М.: Республика, 1992.

Шубинский В. Гапон. М.: Молодая гвардия, 2014.

Шульгин В. Дни; 1920: Записки. М.: Современник, 1989.

Экштут С. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века. М.: Молодая гвардия, 2012а.

Экштут С. Закат империи. От порядка к хаосу. М.: Вече, 2012б.

Юровский Л. Денежная политика советской власти (1917–1927). Избранные статьи. М.: Экономика, 2008.

Яковенко И. Познание России: цивилизационный анализ. М.: РОССПЭН, 2012.

Abraham D. The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis. Princeton: Princeton University Press, 1981.

Aftalion F. The French Revolution. An Economic Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Aldcroft D. From Versailles to Wall Street. Berkeley: University of California Press, 1977.

Barber A. Report of European Technical Advisers Mission to Poland. 1919–1922. New York, 1923.

Barker E. Austria, 1918–1972. London: Palgrave Macmillan, 1973.

Berend I., Ranki G. The Development of the Manufacturing Industry in Hungary (1900–1944) // *Studia Historica. Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1960. No. 19.

Berend I. Decades of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley: University of California Press, 1998.

Bluhm W. Building an Austrian Nation. The Political Integration of a Western State. New Haven: Yale University Press, 1973.

Bresciani-Turroni C. The Economics of Inflation. A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany. 1914–1923. London: Allen and Unwin, 1937.

Craig G. Germany. 1866–1945. Oxford: Oxford University Press, 1978.

Daniels H. The Rise of the German Republic. London: Nisbet & Co, 1927.

Dornbusch R. Post-Communist Monetary Problems. Lessons from the End of Austro-Hungarian Empire. San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1994.

Dybosky R. Poland. London, 1933.

Gorecki R. Poland and her Economic Development. London: George Allen & Unwin, 1935.

Gulick C. Austria from Habsburg to Hitler. Vol. 1. Labor's Workshop of Democracy. Berkeley: University of California Press, 1948.

Jászi O. The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago: The University of Chicago Press. 1929

Jelavich B. Modern Austria Empire and Republic. 1815–1976. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Johnston W. The Austrian Mind. An Intellectual and Social History, 1838–1948. Berkeley: University of California Press, 1972.

Lefevbre G. The French Revolution. From 1789 to 1799. London: Routledge, 1964.

Lewis A. Economic Survey. 1919–1939. London: [б.г.].

Macartney C. The Social Revolution in Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 1926.

Pasvolsky L. Economic Nationalism of Danubian States. New York: Macmillan Co, 1928.

Pedersen J., Laursen K. The German Inflation. 1918–1923. Amsterdam: North-Holland, 1964.

Peterson E. Hjalmar Schacht for and against Hitler. A Political-Economic Study of Germany, 1923–1945. Boston: Christopher Publ. House, 1954.

Pölsökei F. Hungary after Two Revolutions (1919–1922) // Studia Historica. Academiae Scientiarum Hungaricae. 1980. No. 132.

Rothschild K. Austria's Economic Development between the two Wars. London, 1947.

Rupieper H. The Cuno Government and Reparations, 1922–1923. Politics and Economics. Hague: Martin Nijhoff Publ., 1979.

Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. Class and Status in Nazi Germany, 1933–1939. New York: Doubleday and Company, 1967.

Sydenham M. The First French Republic, 1792–1804. Berkeley: University of California Press, 1973.

Sydenham M. The French Revolution. London: Bloomsbury Publ., 1985.

Wellisz L. Foreign Capital in Poland. London: George Allen & Unwin, 1938.

Художественная литература

Алданов М. Ключ.

Алданов М. Пещера.

Алданов М. Истоки.

Алданов М. Самоубийство.

Гоголь Н. Ревизор.

Горький М. Варвары.
Горький М. Враги.
Горький М. Мать.
Горький М. Карамора.
Достоевский Ф. Бесы.
Ремарк Э. М. Черный обелиск.
Толстой Л. Анна Каренина.
Чехов А. Три сестры.

Дмитрий ЯковлевичТравин

**Модернизация versus революция,
или Модернизация ergo революция?**

Препринт М-102/43

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А

books@eu.spb.ru

Подписано в печать 25.01.2024.

Формат 60x88 1/16. Тираж 20 экз.